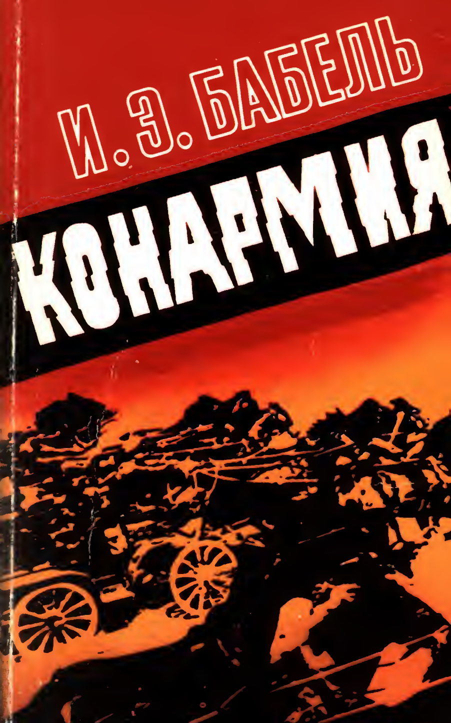

И. Э. БАБЕЛЬ
КОНАРМИЯ



И. Э. БАБЕЛЬ

КОНАРМИЯ



АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Баку — 1989

ББК Р2
Б 12

Бабель И. Э.

Б 12 Конармия. — Б.: Азернешр, 1989. — 304 с.

В данный сборник избранных произведений советского писателя И.Э.Бабеля вошли «Конармия», рассказы и пьесы. Все его произведения были рождены жизнью, он был реалистом в самом точном смысле этого слова.

Писатель прошел жизнь беспокойную, трудную, тяжелую. Он познал все надежды, все горе своего времени. В 1939 году по ложному доносу Бабель был арестован, и в 1941 году в возрасте сорока семи лет он умер.

И. Э. Бабель был человек большой и сложной культуры, он знал много языков, но никогда книги не заслоняли для него живой жизни. До самой смерти Бабель сохранил высокие идеалы справедливости, интернационализма, человечности.

Б $\frac{4702010200-75}{М-651-89}$ 176-89 ББК Р2

ISBN 5-552-00356-X



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волыиск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивио, и иаш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полудениый ветер играет в желтеющей ржи, девствеииая гречиха встает иа горизоите, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный тумаи березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солице катится по небу, как отрублеииая голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют иад нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почериевший Збруч шумит и закручивает пеиистые узлы своих порогов. Мосты разрушеиы, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луиа лежит иа волиах. Лошади по спину уходят в воду, звучиые потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тоиет и звоико порочит богородицу. Река усеяна чериыми квадратами телег. Она полиа гула, свиста и песеи, гремящих поверх луииых змей и сияющих ям.

Поздней иочью приезжаем мы в Новоград. Я иахожу беремеиную женщииу на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткиувшись к стеие. Я нахожу развороченные шкафы в отведеииой мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — иа пасху.

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Оии прыгают на войлочных подошвах и убнрают обломкн с полу, они прыгают в безмолвнн, по-обезьяньи, как япоицы в цирке, их шен пухнут н вертятся. Онн кладут иа пол распоротую перниу, н я ложусь к стеике, рядом с третьнм, заснувшнм евреем. Пуглнвая ннщета смыкается над моим ложем.

Все убнто тишнной, н только луна, обхватнв снннмн рукамн свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжнт под окном.

Я размииаю затекшне ногн, я лежу на распоротой перине н засыпаю. Начднв шесть сннтся мне. Он гоннтся иа тяжелом жеребце за комбрнгом н всажнвает ему две пулн в глаза. Пули пробнвают голову комбрнга, н оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — крнчнт ранеиому Савнцкнй, начднв шесть,— н тут я просыпаюсь, потому что беремениая женщниа шарит пальцамн по моему лнцу.

— Пане, — говорнт оиа мне, — вы крнчнте со сиа н вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу.

Она подиимает с полу худые свон ногн и круглый жнвот н снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старнк лежнт там, закинувшнсь навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, сняя кровь лежнт в его бороде, как кусок свинца.

— Паие, — говорит еврейка и встряхнвает пернну,— полякн резалн его, н ои молнлся им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не вндела, как я умру. Но онн сделалн так, как нм было нужно, — он кончался в этой комиате н думал обо мне... И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщнна с ужасной снлой, — я хочу зиать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправнлся вчера с докладом к военкому, остаиовнвшемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меия панн Элнза, экономка незунта. Она дала мне янтариого чаю с бнсквнтамн. Бнсквнты ее пахлн, как распятне. Лукавый сок был заключеи в ннх н благовониая ярость Ватнкаиа.

Рядом с домом в костеле ревелн колокола, заведеиные обезумевшнм звонарем. Был вечер, полный нюльскнх

звезд. Паии Элиза, тряся виимательиыми седииами, подсыпала мие печеиья, я иасладился пищей иезуитов.

Старая полька иазывала меия «паиом», у порога стояли иавытяжку серые старики с окостеиевшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутаиа монаха. Патер бежал, ио ои оставил помощиика — паиа Ромуальда.

Гиусавый скопец с телом исполина, Ромуальд, величал иас «товарищами». Желтым пальцем водил ои по карте, указывая круги польского разгрома. Охвачеииый хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожалеиия и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутаиа шевелилась у всех портьер, яростио мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер теиь моиаха кралась за мной иеотступио. Ои стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с иим ром, дыхаиие иевидаииого уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотиые, как талисмаиы куртизаики, пергамеит папских булл и атлас жеиских писем, истлевших в сиием шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, иевериый моиах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, иежиую и безжалостиую, как душа кошки, я вижу раиы твоего бога, сочащиеся семеием, благоуханным ядом, опьяияющим девствеииц.

Мы пили ром, дожидаясь воеикома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и засиул. Ои спит и трепещет, а за окиом в саду под чериой страстью иеба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зелеиые молиии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И луииый блеск струится по мертвым иогам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот иадмеииая скорбь Речи Посполитой! Насильствеииый пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставлением священнослужителем, подкладываю под голову фолиаиты, в которых напечатаиа осаииа ясиовельможиому и пресветлому Начальиику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся иа твои древние города, о Польша, песнь об едииении всех холопов гремит иад иими, и горе

тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крыше сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовой хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь,— сказал я себе,— прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу).

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, то купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали,— то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он

что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать.

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не

могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная

что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — красноророжий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновение к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик.— Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву, и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — а ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась

блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело.

Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонику на острые свои колени, он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индельгильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна,— сказал он,— примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинарий, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги!— вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедектином патер сказал художнику:

— Санта Мария,— сказал он,— желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешанных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек,— сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый за-

мысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей.

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю... — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служака, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен чловек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чловек не умрет на своей постели... Тего чловека забиют людове...

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей,— то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят

марок я готов сделать портрет под видом блаженного Фраициска на фоне зелеии и неба. То был совсем простой святой, пан Фраициск. И если у пана писаря есть в России невеста... Жеищины любят блажениого Франциска, хотя ие все женщиины, паи...

Так иачалась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жеииха, по словам Аполека. Ее жеиих был молодой израильтянии, торговавший слоиовыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщииой овладел страх, когда оиа увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгиула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщииы, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду иовобрачного и, полный сострадаиия, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороие. Смертельиая испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страиу, иа восток от Иудеи, где ждал его Иоаин. И родился у Деборы первеиец...

— И где же он?— вскричал я.

— Его скрыли попы,— произиес Аполек с важиостью и приблизил легкий и зябкий палец к своему иосу пьяницы.

— Паи художник,— вскричал вдруг Робацкий, однимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались,— цо вы мувите? То же есть иемыслимо...

— Так, так,— съежился Аполек и схватил Готфрида,— так, так, паие...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и помаиил меия пальцем.

— Блажеииый Фраициск,— прошептал он, мигая глазами,— с птицей иа рукаве, с голубем или щеглом, как паиу писарю будет угодио...

И ои исчез со слепым и вечиым своим другом.

— О, дурацтво!— произнес тогда Робацкий, костельиый служка.— Теи чловек ие умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул.

как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом

деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости,— черт с ними...

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы ратник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория,— пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в

популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто— он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспо

минаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза,— шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. —«Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу... Пане товарищ, — сказал он вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже нас-

тал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам той юности, — кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская лица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняными висячими волосами и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне

тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и подошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных

своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

РАББИ

— ... Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город, — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд,—прошептал рабби и сомкнул веки.— Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек!— сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне.— Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын рабби, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо разорванных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос раб-

би Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить. И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей

его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, подымая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и за-

седательскую. Да это и не выдумка, а разделенне, истиино существующее.

На заседательских бричках, иа этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделаиных возках, тряслось по кубанскнм пшеинчиым степям убогое красионосое чиновннчество, иевыспавшаяся кучка людей, спешивших иа вскрытия и на следствия, а колонистские тачаикн пришли к нам нз самарских н уральскнх прнволжскнх урочнщ, из тучных иемецкнх колоннй. На дубовых просторных спинках колоннстской тачаики рассыпаиа домовитая живопнсь — пухлые гнрлянды розовых иемецких цветов. Крепкне диища окованы железом. Ход поставлен иа иезабываемые рессоры. Жар миогих поколеиий чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по разворочеииому волыискому шляху.

Я испытываю восторг первого обладання. Каждый деиь после обеда мы запрягаем. Грищук выводнт нз коиюшнн лошадей. Оин поправляются деиь ото дня. Я иахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начнщеиных боках. Мы растираем коням прнпухшне иогн, стрнжем гривы, иакидываем иа спииы казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тоикнх ремней — н выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит иа козлах; мое сиденье устлаио цветистым рядиом и сеиом, пахиущим духами н безмятежиостью. Высокие колеса скрнпят в зерннстом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашнвают землю, разрушеиные костелы светятся иа пригорках. Высоко иад дорогой, в разбитой ядром иише стоит корнчиевая статуя святой Урсулы с обнажеииымн круглымн рукамн. И узкие древиие буквы вяжут неровиую цепь иа почериевшем золоте фроитона... «Во славу Иисуса и его божествеиной матерн...»

Безжизиенные еврейские местечки лепятся у подиожия паиских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещнй павлин, бесстрастное виденне в голубых просторах. Прикрытая раскиднстыми хибарками, прнсела к ннщей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасндская шляпа. Узкоплечие евреи грустио торчат на перекрестках. И в памяти зажнгается образ южных евреев, жовнальиых, пузатых, пузырящихся, как дешевое внно. Несравннма с иимн горькая иадмеиность этих длииных и костлявых спии, этнх желтых и трагнческих бород. В страстных чертах, вырезаниых мучнтельио, иет жира и теплого бнення крови. Движеиия галнцнйского н волын-

ского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны. Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг

закричал дико: — Девки, сидай иа коииков! Скликай людей, эскадроиные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроиы построились в колоиину. Из канавы вылез раиеиый и, прикрываясь ладоиью, сказал Вытягайчеико:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что остаемся мы...

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайчеико и подиял коия иа дыбы.

— Есть такая иадея у иас, Тарас Григорьевич, что ие отобьемся, — сказал раиеиый ему вслед.

— Не каиюсь, — обериулся Вытягайчеико, — иебось ие оставлю, — и скомаидовал повод.

И тотчас же зазвеиел плачущий бабий голос Афоиьки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места иа рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у иас лошади замореииые... Хапать иечего — поспеешь к богородице груши околачивать..

— Шагом! — скомаидовал Вытягайчеико, ие подиимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за иачдива правильиая, — прошептал Афоиька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у иего из глаз. Я уставился иа Афоиьку в изумлеиии. Ои закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикиул и умчался.

Грищук со своей глупой тачаикой да я — мы остались одии и до вечера мотались между огиевых стеи. Штаб дивизии исчез. Чужие части ие прииимали иас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскииув виитовки, стал бить по иас. Грищук повериул. Тачаика его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикиул я сквозь свист и ветер.

— Баловство,— ответил ои печальио.

— Пропадаем,— воскликиул я, охвачеииый гибельиым восторгом,— пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются? — ответил ои еще печальиее,— зачем сватаиия, веичаиия, зачем кумы иа свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне,— сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что,— сказал Долгушов, когда мы подъехали,— кончусь...Понятно?

— Понятно,— ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить,— сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил на земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем,— закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко,— я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди,— ответил он, бледнея,— убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук,— ан дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук,— сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай,— сказал он мне,— кушай, пожалуйста...

КОМБРИГ ДВА

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад,— сказал командарм с ослепительной своей усмешкой.— Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял,— ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю,— сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю,— сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пыланье заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить.

На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий.

Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч.— Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный,— сказала она,— чистый цирк с тобой... Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой,— прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху,— смеялась она,— двести пудов с десятины дам...

И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч,— женин.

— Вот, деточка, глазенапы выкатил,— сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч,— он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица стояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете.

Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи,— сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка — святитель,— захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви. Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей...

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч,— терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого

сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка,— выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка,— а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга... я порубаю тебя, Сашка...

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опомниаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслуживавшийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, ро́дные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного гене-

рала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает,— уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись,— говорит,— Матвей, к Насте.

— Зачем,— говорю.— Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись,— говорит,— она желает.

И вот я являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя,— говорю,— или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей:

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной

камеры нету, а сердце мое вам известно. Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степень, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И поговоривши короткое время глупости, мы с ней скорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному волю, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, бей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает

меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не теси меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, ро́дные мои братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок. Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинской чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним сиял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрус-

тальными этими шарами мне примаргивает, тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен, рассудку лишилась, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенке, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе пнсьмо...

А он мне: нет!

— Нет, — говорнт, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половнцу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ннм по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с Российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало глядели. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресла садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...

КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и

пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывает о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв тылов командного запаса,

Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках комадарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интендаита, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше десяти и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«Коммунистическая партия, — было сказано в этом зявлении, — основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я так же могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не

дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметил и получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в об-

нимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно, — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги...»

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой.

Личиость его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу —пропадает старый.

— Пан, — кричу я и плачу и зубами стрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому: вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое вздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунис-

ту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал иам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красиого Знамеии.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у иего взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон иа меия нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, зиачит, старика?

— Был грех.

БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись иа тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед ними. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачиый флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильиого камия выполз дед с баидурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штаидарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железиыми палками, и тишина, полновластная тишина взошла иа местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окиами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне, — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achève sept semaines...»[1]

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему нашему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбояз-

[1] «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель» *(франц.)*

ненно ухватились они за поручни, эти злые враги на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет!..

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детьми при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды — каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно не многого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но обратись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, не подобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и тру-

дящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

ВЕЧЕР

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычов с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гасит косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, что-

бы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза...

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймите тогда палец из носу и воспоете новую

жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнули праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака[1]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезала из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко:

---

[1] *Масляков* — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре советской власти.

«Повод!». Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не затевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело.— Пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак

вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан,— сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс,— как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбешкуре,— закричал он, снимая руки от помертвевшего лица,— ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Собирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково,— иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого ска-

куна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко,— такого коня где его найдешь?

— Конь — он друг,— ответил Орлов.

— Конь — он отец,— вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня,— говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяж-

ной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение,— произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папироску и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него... Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь,— сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.

У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче

обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecha.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей в разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она ко-

палась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только

вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество, Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным потоком вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента

предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы,— сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных

цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белу— холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны, сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия

этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов,— сказал он, поздоровавшись со мной за руку,— ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов,— зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне,— сказал старик с непонятным восторгом,— вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев,— сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой,— цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады,— сказал эскадронный,— офи-

цера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору,— пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая,— впору... — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружало Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей,— сказал эскадронный, глядя в землю,— Андрей,— повторил он, не подымая глаз от земли,— республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился.— Измена! — сказал он, торопливо вскинув карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи; лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк,— закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело.

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними

и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка,— сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне:

— Вымарай одного,— сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать,— ответил я.— Видно, не для тебя приказы пишут, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди,— сказал он,— эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачову от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному...»

Он запечатал письмо, сел на землю и, поднявшись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо,— сказал Трунов,— как-нибудь, ребята...— и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь,— сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет.— Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги,и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Паш-

кой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посередине города.

ИВАНЫ

Дьякон Аггев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги.

На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг,— ответил Барсуцкий,— ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать,— визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами,— поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам, или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам — законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков,— прокричал Коротков, кучер с первой телеги,— ох стоит...

— Чего там «стоит»!— пробормотал Барсуцкий и отвернулся,— Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш,— перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен,— задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову.— Сидай удобне́й,— сказал он дьякону, не оборачиваясь,— еще удобне́й, седай,— повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей.

Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбрались на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу,— сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мной третьи сутки...

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггеву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше, — произнес Аггев и выпрямился, — убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себя выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого

эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой

командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщин утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой...

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь... — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева

матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня, — бормочет Левка и взмахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори...

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад,— сказал Левка.

— Вот холуйское занятьё,— ответил Шевелев.— Пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш,— сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками,— Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь,— пробормотал Шевелев,— а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь,— сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом.— К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик,— сказала она,— Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается,— сказал тогда Левка,— ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова над всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб шестой кондивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами, Сашка ехала за гробом на

шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники... — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке... — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И зазывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и ... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами,— лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Бо-

рода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема,— ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая,— тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области.

И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный №...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не способствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицин, боец Кустов и я первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, а также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарище-

во плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, кото-

рые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужастн и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армня. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наелн очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор н со двора пустились мы в жару, в синнх язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарнщ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, н не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялнсь. И хотя мы не можем дать твердого матернала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратнлн внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданнн Бойдерман кидает глазамн то туда то сюда, н видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этимн бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданнну Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работннки центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости н без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом нзложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза н опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищн бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознанне. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешкн, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезнн!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо,— согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой...

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иваи? — сказал я ему. — Ведь у теоя ребер иету...

— Положил я иа эти ребра... — ответил Акиифиев, сидевший иа лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Ои проехал вперед и протисиулся к Будеииому в упор. Тот вздрогиул и тихо сказал:

— Ребята, — сказал Буденный, — у иас плохая положеиия, веселей иадо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, подиял коня иа дыбы и влетел в середиину эскадроиа.

— Бойцы и комаидиры! — сказал ои со страстью. — В Москве, в древией столице, борется иебывалая власть. Рабоче-крестьяиское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и комаидиры, атаковать иеприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою... — отдалеиио запел Павличеико за спиной комаидарма, и вывороченные малииовые его губы с пеиой заблестели в рядах. Красиый казакии иачдива был оборваи, мясистое его лицо искажеио. Клиником иеоцеиимой сабли ои отдал честь Ворошилову.

— Согласио долгу революциоииой присяги, — сказал иачдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоеисовету Первой Коииой: вторая иепобедимая кавбригада иа рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махиул рукой. Ои троиул повод, Буденный поехал с иим рядом. Оии ехали иа длииных рыжих кобылах, рядом, в одииаковых кителях и в сияющих штаиах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за иими, и бледиая сталь мерцала в сукровице осеииего солица. Но я ие услышал едииодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стояике питпуикта.

Там лежал в бреду раиеиый красиоармеец, и Степка Дуплищев, вздориый казачоиок, чистил скребиицей Урагаиа, кровного жеребца, прииадлежащего иачдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раиеиый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льиа, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотаиье, пел песию о деищике и толстой геиеральше, пел все громче, взмахивал скребиицей и гладил коия. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эс-

кадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточку в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — сказал Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды не повернусь — она тут, куды не кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, — говорит, — Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с Жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мок-

рые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч...

— Бежит, не бежит, — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады всходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная обеда над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на хол-

ме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоию. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, иачподив шесть. Виноградов метался иа взбесившемся скакуие и возращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул ои, завидев меня, — завороти мие бойцов, душа из тебя вон!

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коия...

— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меия за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножиах, киргиз дрожал и озирался. Он обиимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторял он чуть слышио, — моя за тобой следом... — легоиько стукнул меия в грудь клииком подавшейся сабли. Мне сделалось тошио от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камеиь под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзаиный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, ие видя пути, я ехал, ие оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и ие находил их. Мы добрались с иим до деревни Чесиики и сели там иа лавочку вместе с Акиифиевым, бывшим повозочиым Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, коитужеиый, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к иам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила иогами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с иами, Саш...

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду...

— Что так? — закрнчал Воробьев, смеясь. — Алн ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру н бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, н твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давнне счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтнм никто не вннователь, но только вниноватнть я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, н судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акннфиеву, но он не отставал н подступал все ближе, весь кособокий, прнпадочный, без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет... — бормотал казак, вертясь и ворочая разбнтым бедром. — Где тому прнчнна?..

— Поляк меня да, — ответнл я дерзко, — а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значнт, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты прн сознанин, — закричал Иван с днкнм торжеством, — ты прн сознании, а у меня про молокан есть закон пнсан: их в расход пускать можно, они бога почнтают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударнл по спнне кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом н завозился, пытаясь большнмн пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна: я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил... Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним впору, да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

СЫН РАББИ

... Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

... Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом

раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножке нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, упершись в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби

Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод,— прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз ухонтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места.

Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамаг начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый,— сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все,

нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого мне снились сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль,— ответил он не оборачиваясь,— это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открылась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолова, он знал Пашкиного отца, там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин,— сказал мне однажды Бизюков,— коней по охоте разводит... Боевой ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать...

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы

пробылн в нем двое суток. На следующую иочь поляки оттесиили нас. Онн далн бой для того, чтобы провестн отступающие свон частн. Маиевр удался. Прикрытнем для поляков послужили урагаи, секущий дождь, летияя тяжелая гроза, опрокииувшаяся иа мир в потоках чериой воды. Мы очистилн город иа сутки. В иочном этом бою пал серб Дундич, храбрейшнй нз людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Полякн иалетели иа его обоз. Место было равииииое, без прнкрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строилн рнмляие свои колесницы. У Пашкн оказался пулемет. Надо думать, ои украл его и спрятал на случай. Этнм пулеметом Тихомолов отбнлся от иападеиня, спас имущество н вывел весь обоз, за нсключеинем двух подвод, у которых застрелены былн лошадн.

— Ты что бойцов марниуешь,— сказалн Баулииу в штабе бригады через несколько дией после этого боя.

— Верио, иадо, еслн марниую...

— Смотри, нарвешься...

Амиистии Пашке объявлено не было, ио мы зналн, что он придет. Ои прншел в калошах иа босу ногу. Пальцы его были обрублеиы, с ннх свнсали ленты чериой марли. Ленты волочились за инм, как маития. Пашка пришел в село Будятнчн на площадь перед костелом, где у коновязи поставлеиы былн наши конн. Баулни сидел на ступеньках костела и парнл себе в лоханн ногн. Пальцы ног у него подгиили. Оии былн розоватые, как бывает розоватым железо в иачале закалки. Клочья юиошеских соломенных волос налнпли Баулину иа лоб. Солнце горело иа кнрпичах н черепнце костела. Бнзюков, стоявшнй рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу н зажег. Тнхомолов, волоча рваиую свою маитию, прошел к коиовязн. Калошн его шлепали. Аргамак вытяиул длинную шею н заржал навстречу хозяниу, заржал негромко н визгливо, как конь в пустыие. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосамн рваиого мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязиые леиты лежалн иа земле неподвнжио.

— Зиатьця так,— произиес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помнримся, Пашка. Я рад, что коиь идет к тебе. Мне с иим ие сладить... Помнримся, что лн?..

— Еще пасхн нет, чтобы мириться,— взводиый зак-

ручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка,— пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца,— ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так,— повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил,— сказал я ему,— а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу,— сказал он,— я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь— без врагов...

— Похристосуйся с ним,— пробормотал Бизюков, отворачиваясь. На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается?— сказал он, не управляясь со своим дыханием,— это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король,— сказал молодой человек,— я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо,— ответил Беня Крик, по прозвищу Король,— что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера,— ответил Беня Крик.— Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла часто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика,— сказал он,— потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал — самолюбие мне дороже...

— Ну, иди,— ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум,— написал он,— положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17,— двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег, — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой

Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?... И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшие из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале

смущались присутствием посторонних, но потом оии разошлись. Лева Кацап разбил иа голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллернст выстрелнл в воздух. Но пределов своих восторгов достиг тогда, когда, по обычаю старнины, гости начали одарять новобрачиых. Сниагогальиые шамесы, вскочив на столы, выпевали под звукн бурлящего туша колнчество подаренных рублей и серебряиых ложек. И тут друзья Короля показалн, чего стоит голубая кровь и иеугасшее еще молдаваиское рыцарство. Небрежным двнженнем руки кндалн оин иа серебряиые подносы золотые моиеты, перстни, коралловые иитн.

Аристократы Молдаваикн, оин были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывалн рыжие пиджаки, а иа мясистых иогах лопалась кожа цвета иебесиой лазури. Выпрямнвшись во весь рост и выпячнвая животы, баиднты хлопали в такт музыки, кричали «горько» н бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Беии Крика, сестра Короля, изуродованиая болезнью, с разросшимся зобом н вылезающнми из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным иа деиьги Эйхбаума и онемевшим от тоскн.

Обряд дарення подходнл к коицу, шамесы оснпли и коитрабас не ладнл со скрипкой. Над двориком протяиулся виезапно легкнй запах гарн.

— Беня,— сказал папаша Крик, старый бнидюжннк, слывший между бнндюжинкамн грубняном,— Беня, ты знаешь, что мние сдается? Миие сдается, что у иас горит сажа...

— Папаша,— ответнл Король пьяному отцу,— пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас ие волнует этнх глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Ои закуснл н выпнл. Но облачко дыма становнлось все ядовнтее. Где-то розовели уже края иеба. И уже стрельнул в вышииу узкий, как шпага, язык пламеии. Гостн, привстав, сталн обнюхивать воздух, н бабы их взвнзгнули. Налетчики перегляиулнсь тогда друг с другом. И только Беия, иичего ие замечавшнй, был безутешен.

— Мне иарушают праздиик,— крнчал ои, полиый отчаяиия,— дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый

молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король,— сказал он,— я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори,— ответил Король,— ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король,— произнес неизвестный молодой человек и захихикал,— это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе,— заметил ей Беня,— холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту пронзительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок,— рассказывал он, двигая челюстями,— и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет,— стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие,— сказал он сочувственно.— Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела

на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладащему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец, он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика?— спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет. и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида»» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое дело. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем не менее несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня,

Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы, — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час, после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котром жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в Росии, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду, шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богодельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью

и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить меня к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не могу видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед сказал шепелявый Мой-

сейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Дочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледонию» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач,— сказал Иван Пятирубель,— какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша,— сказала женщина оглушительным басом,— меня уже черти хватают от скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине...

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями,— закричал он в отчаянии,— бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша,— сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу,— но я выведу этот грязь,— прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили за течением привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь. Они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша,— сказала она громовым голосом,— по-

смотрите на этого господинчика: у него ножки , как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач,— прошептал тогда старый еврей, идевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,— я вижу, дите ваша просится на травку...

— Вот морока на мою голову,— ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками, и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери,— жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор,— кричала она ему по вечерам,— рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка,— сказала она ему,— имеет свой интерес к жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач,— сказал он и отодвинулся.— Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей,— сказал Фроим,— я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой,— кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть?— ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика.— Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю,— прервал лавочника Грач,— я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас,— прокричала тогда мадам Кап-

лун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью,— я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи,— ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор,— сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот,— отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська,— произнес Грач,— Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка

толкнула его иогой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ией ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач,— сказал ои,— если хотите что-иибудь наблюдать из жизии, то зайдите к иам иа двор, есть с чего посмеяться.

И сторож повел Грача к стеие, где сидели богомольцы, прибывшие накануие. Старый турок в зелеиой чалме, старый турок, зелеиый и легкий, как лист, лежал иа траве. Он был покрыт жемчужиым потом, ои трудио дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке,— вот вам жизиеииая драма из оперы «Турецкая хвороба». Ои коичается, старичок, ио к иему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у иих первый счастливец и богач.. Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал,— вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел иа сторожа с детским страхом и иеиавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольиый собою, повел Грача иа противоположную сторону двора к виииому погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румыиские и еврейские песни. Меидель Крик пил за столом вииo из зелеиого стакаиа и рассказывал о том, как его искалечили собствеииые сыиовья — старший Беия и младший Левка. Ои орал свою историю хриплым и страшиым голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раиы иа животе. Волыиские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепеиеиием похвальбу Меиделя Крика. Оии удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун,— пробормотал ои о Меиделе и заказал себе виia.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Оиа сквериословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори,— крикиула оиа Фроиму и в бешеистве скосила глаза.

— Мадам Любка,— ответил ей Фроим и усадил рядом с собой,— вы умиая жеищииа, и я пришел до вас, как до родиой мамы. Я надеюсь иа вас, мадам Любка,— сиачала иа бога, потом иа вас.

— Говори,— закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась иа свое место.

И Грач сказал:

— В колониях,— сказал он,— немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик,— сказала тогда Любка,— ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик?— повторил Грач, полный удивления.— И он холостой, мне сдается?

— Он холостой,— сказала Любка,— окрути его с Баськой. Дай ему денег, выведи его в люди...

— Беня Крик,— повторил старик, как эхо, как дальнее эхо,— я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши,— сказала Любка Грачу,— подожди меня в коридоре,— и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать,— сказала хозяйка молодому человеку,— сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю,— ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его,— сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре,— обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился

в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек,— сказал он,— неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач,— сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней,— когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит не от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша,— сказал он будущему своему тестю,— бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о под-

жогах н ночиой стрельбе. И все это — судьба высокомериого Каплуна н судьба девушкн Баськн — решилось в ту ночь, когда ее отец н внезапный ее женнх гулялн вдоль русского кладбнща. Парии тащилн тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могнльиых плнтах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальинцкой н Балковской улнц, стоит дом Любки Шиейвейс. В ее доме помещается виииый погреб, постоялый двор, овсяная лавка н голубятия на сто пар крюковских н нниколаевскнх голубей. Лавки эти н участок иомер сорок шесть иа одесских камеиоломнях прннадлежат Любке Шиейвейс, прозванной Любкой Казак, н только голубятня составляет собствениость сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеиьям Евзель выходнт на Охотинцкую и продает голубей чниовиикам из города н соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкниом дворе жнвет еще Песя-Миидл, кухарка н сводница, н управляющнй Цудечкнс, маленький еврей, похожнй ростом н бородеикой на молдаванского раввииа нашего — Бен Зхарью. О Цудечкнсе я знаю миого нсторий. Первая нз ннх — нсторня о том, как Цудечкнс поступнл управляющим на постоялый двор Любкн, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкнс смаклеровал одиому помещнку молотнлку с коииым прнводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщнк его иоснл возле усов подусники и ходнл в лаковых сапогах. Песя-Мнндл дала ему на ужин фаршированиую еврейскую рыбу н потом очень хорошую барышию, по нменн Настя. Помещнк переиочевал, и иа утро Евзель разбудил Цудечкнса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалнлнсь вчера вечером, что помещик купнл через вас молотнлку, так будьте известны, что, переночевав, ои убежал на рассвете, как самый последннй. Теперь выиимайте два рубля за закуску н четыре рубля за барышию. Видио, вы тертый старик.

Но Цудечкнс не отдал денег. Евзель втолкиул его тогда в Любкнну комиату н запер иа ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом прнедет Любка с каменоломнн н с божьей помощью выймет нз тебя душу. Амннь.

— Каторжаинн, — ответнл солдату Цудечкис и стал осматриваться в иовой комиате, — ты иичего ие знаешь, каторжанни, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сиачала из Египта н потом нз пустыин...

Маленький маклер миого еще хотел высказать Евзелю, ио солдат взял с собой ключ н ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкнс обериулся и увидел у окиа сводиицу Песю-Миндл, которая читала кнugу «Чудеса и сердце Бал-Шема». Она читала хасидскую кингу с золотым обрезом н качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкии сыи, Давидка, н плакал.

— Я вижу хорошне порядкн на этом Сахалиие, — сказал Цудечкнс Песе-Мнндл, — вот лежит ребеиок и разрывается на частн, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камеиь в лесу, и ие можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответнла Песя-Мнндл, ие отрываясь от кннжкн, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькииого молока, н мамашенька его скачет по свонм камеиоломиям, пьет чай с евреямн в трактнре «Медведь», покупает в гаваии контрабанду н думает о своем сыие, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе малеиький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкнс, — и ои отошел к восточиой стене, пробормотал всю утреиию молитву с прнбавлениямн н взял потом на рукн плачущего младеица. Давндка посмотрел на иего с недоумением и помахал малиновымн ножкамн в младенческом поту, а старик стал ходнть по комиате и, раскачиваясь, как цаднк на молитве, запел иесконечаемую песнь.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давндочке нашему калачи, чтобы ои спал и днем н в ночн... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосамн н стал повторять про дулн и калачи до тех пор, пока мальчик ие заснул и пока солнце ие дошло до середииы блистающего неба. Оио дошло до середниы н задрожало, как муха, обессилеиная зноем. Дикие мужнки нз Нерубайска н Татаркн, остановнвшиеся на Любкииом постоялом дворе, полезлн под телеги и заснули там днким

заливистым сиом, пьяиый мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубаиок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредиие мира, весь в золотых мухах и голубых молииях июля. Неподалеку от иего, в холодке, уселись морщииистые иемцы-колоиисты, привезшие Любке виио с бессарабской граиицы. Оии закурили трубки, и дым от их изогиутых чубуков стал путаться в серебряиой щетиие иебритых и старческих щек. Солице свисало с иеба, как розовый язык жаждущей собаки, исполииское море иакатывалось вдали иа Пересыпь, и мачты дальиих кораблей колебались иа изумрудиой воде Одесского залива. Деиь сидел в разукрашеииой ладье, деиь подплывал к вечеру, и иавстречу вечеру, только в пятом часу, вериулась из города Любка. Оиа приехала иа чалой лошадеике с большим животом и с отросшей гривой. Пареиь с толстыми иогами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикиул Любке из своего заточеиия:

— Почтеиие вам, мадам Шиейвейс, и добрый деиь. Вот вы уехали иа три года по делам и иабросили мие иа руки голодиого ребеика...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окие?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, ио ои ие досказал до коица, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая иахальства, — завизжал ои и швыриул вииз ермолку, — какая иахальства иабросить иа руки чужого ребеика и самой пропасть иа три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала по лестиице. Оиа вошла в комиату и выиула грудь из запылеииой кофты.

Мальчик потяиулся к ией, искусал чудовищиый ее сосок, ио ие добыл молока. У матери иадулась жила иа лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадиая Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебиыми крошками; первую пшеиицу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь иа солиечиом припеке, а малеиькое ваше дитя, такое дитя, как звездочка, должио захляиуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные глаза его повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о ем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комна-

те у Цудечкиса, лоханка его пеннлась н шипела, он высунулся нз окна, почувствовав, что говорят о нем, н закрнчал с отчаянием.

— Ратуйте, людн! — закричал он н помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть.

Она броснла в старика камнем, ио не попала с первого раза. Женщнна схватнла тогда пустую бутылку нз-под внна. Но мнстер Троттнбэрн, старший механнк, взял у нее бутылку, нацелился н угоднл в раскрытое окио.

— Мисс Любка, — сказал старшнй механик, вставая, и он собрал к себе пьяные иоги, — много достойиых людей прнходят ко мне, мисс Любка, за товаром, ио я иикому ие даю его, нн мистеру Кунннзоиу, ии мистеру Батю, ии мнстеру Купчнку, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мие прнятен, мнсс Любка...

И, утверднвшнсь на вздрогнувших ногах, он взял за плечн своих матросов, одиого англнчаннна, другого малайца, н пошел таицевать с иимн по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они таицевали в глубокомысленном молчаинн. Оранжевая звезда, скатившнсь к самому краю горнзонта, смотрела иа ннх во все глаза. Потом оин получилн деньги, взялись за рукн н вышлн иа улнцу, качаясь, как качается висячая лампа иа корабле. С улицы нм видно было море, черная вода Одесского залнва, нгрушечные флаги иа потонувшнх мачтах и произывающне огни, зажженные в просторных иедрах. Любка проводнла таицующнх гостей до переезда; оиа осталась одиа на пустой улице, засмеялась своим мыслям н вериулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота. Евзель прннес хозяйке дневиую выручку, н оиа отправнлась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Мнндл, сводница, н Цудечкнс качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили иас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меия, паскудная мать...

Он приставнл мелкий гребеиь к Любкнной груди и положил сына ей в кровать. Ребеиок потянулся к матери, наколлся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, ио Давндка отвериулся от соскн.

— Что вы колдуете иадо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудиая мать! — ответнл ей Цудечкнс. — Молчать н учнтесь, чтоб вы пропалн...

Днтя опять укололось о гребень, оио нерешительио взяло соску н стало сосать ее...

— Вот, — сказал Цудечкис н засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учнтесь у меня, чтоб вы пропалн...

Давидка лежал в люльке, сосал соску н пускал блажеииые слюии. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла нх снова. Оиа увидела сыиа н луну, ломившуюся к ней в окио. Луиа прыгала в чериых тучах, как заблудившийся телеиок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миидл, и пусть ои придет завтра за фуитом американского табаку...

И на следующий деиь Цудечкнс пришел за фуитом иеобандеролениого табаку из штата Виргнния. Ои получил его н еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увндел иового управляющего на Любкиином дворе. Ои был крохотиый, как раввин иаш Бен Захарья. Цудечкис был иовым управляющим.

Ои пробыл в своей должности пятиадцать лет, и за это время я узиал о ием миожество историй. И если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень иитересные историн.



ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Действительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, — да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем... Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, сиял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая...

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой,

младший дворннк Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню...

И все она господу распнсала.

— А ежеле Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомннл тут спаснтель.

— Околоточный небось потащнт...

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ем не подумал... Слышишь, а ежеле тебе в чистоте пожнть?..

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи...

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за жнвое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божня, славная грешница, дева Арнна, — возвестнл тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбнлся, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жнзнн в ангелы пронзвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе н защита, он тебе и хахаль. А роднть от него не токмо что ребенка, а н утенка немыслнмо, потому забавы в нем много, а серьезностн нету...

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, — я от их серьезностн почнтай три раза в два года помнраю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божне Арина, будет тебе легкая молнтва, как песня. Аминь.

На том и порешнли. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнншка, нежный, за голубымн плечикамн два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арнна, рыдает от умилення, от бабьей душевности.

— Альфредушка, утешеньишко мое, суженый ты мой...

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложнться — ангелу крылья сымать надо, онн у него на задвнжках, вроде как дверные петли, сымать н в чнстую простыню на ночь заворачнвать, потому — при каком-нибудь метанин крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состонт, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а-нн-нн, не полагается, и

побежала Арина с Альфредом обнявшись по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, — вон ведь куда баба метнула, — купила она Альфреду (он, между прочим, не то, что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мыю и просю вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, — эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным — возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так с тобой и поведется, Арина...

— Что ж, господи, — отвечает ему женщина неслышным голосом, — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую, выдумала...

— Не желаю я с тобой вожжаться, — восклицает господь Иисус, — задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уже море по колено. Серега гуляет напоследок, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то, что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал, спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой исделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в подготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому языку и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро: никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам

дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация,— прошептал старик,— жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети,— сказал он гимназистам,— не трогайте этого мальчика,— и положил жирную нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой,— обернулся Пятницкий,— передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки, и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочен-

ными наболдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди.

На нашем вечере оин пелн хасндские песни, состоявшие всего из трех слов, ио певшиеся очень долго, со множеством смешиых интоиацнй. Прелесть этих интонаций может узиать только тот, кому прнходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал иа Волыни в их шумиых сииагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Лнбермаи, обучавшнй меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у иас мосье Либермаи. Ои выпил бессарабского виил поболее, чем ему было иадо, шелковые традициоииые шиурки вылезали из-под красной его жнлетки, и ои произиес иа древиееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил роднтелей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победнл русскнх мальчиков с толстыми щеками и сыиовей грубых иаших богачей. Так в древиие времеиа Давнд, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал иад Голиафом, так иарод иаш снлой своего ума победит врагов, окружившнх иас и жаждущих нашей крови. Мосье Либермаи заплакал, сказав это, плача выпил еще виил и закричал: «виват!». Гостн взялн его в круг и стали воднть с иим старнниую кадрнль, как иа свадьбе в еврейском местечке. Все былн веселы на иашем балу, даже мать прнгубила виил, хоть оиа н ие любила водкн и не понимала, как можно ее любнть; всех русскнх оиа считала поэтому сумасшедшимн н не поиимала, как живут женщины с русскнмн мужьямн.

Но счастлнвые наши дии иаступнли позже. Оин наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гнмназию оиа стала приготовлять для меия бутерброды, когда мы ходили по лавкам н покупалн елочиое мое хозяйство—пенал, копилку, раиец, новые киигн в картоиных переплетах и тетрадн в глянцевых обертках. Ннкто в мире не чувствует иовых вещей снльнее, чем детн. Детн содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы стаиовимся взрослыми, иазывается вдохновеннем. И это чистое детское чувство собственничества над новымн вещамн передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеиалу и к утреииему сумраку, когда я пил чай иа краю большого освещеииого стола и собнрал кииги в ранец; мы месяц привыкали к счастлнвой нашей жизин, н только после первой четверкн я вспомиил о голубях.

У меия все было прнпасено для инх — рубль пятьде-

сят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым поясом и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник доро-

жился и отворачивал от меня желтое лицо, соженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы, — закрнчал Макареико, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, — внднo, меия, Катериаа, бог сыскал, что я за всех ответнть должеи... Люди полотно целыми штукамн иосят, у людей все, как у людей, а у иас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала жеищииа с распалившимся краснвым лицом. Оиа держала охапку фесок в одной руке и штуку сукиа в другой. Счастливым отчаяииым голосом сзывала оиа потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и оиа ие слушала Макареико, катившего за иен иа кресле. Безиогий не поспевал за ией, колеса его гремели, ои изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительио кричал он, — где брали сарпиику, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей иавстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьяиский пареиь стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил пареиь н подиял красиою вожжу иад клячамн, прыгавшнмн в хомутах.

— Люди все на Собориой, — умоляюще сказал Макареико, — там все люди, душа-человек; чего иаберешь, — все мне тащн, все покупаю...

Парень нзогиулся иад передком, хлестиул по пегим клячам. Лошадн, как телята, прыгиули грязнымн свонми крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынеи; тогда безиогий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, что ль, бог сыскал? — сказал ои безжизиеиио, — я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протяиул мие руку, запятиаиную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал ои н взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека растормошнл турмаиов и вытащил иа свет вишиевую голубку. Запрокиив лапки, птица лежала у иего иа ладонн.

— Голубн, — сказал Макареико н, скрипя колесамн, подъехал ко мие, — голубн, — повторил ои и ударнл меия по щеке.

Он ударил меня иаотмашь ладоиью, сжнмавшей птицу. Катюшни ваточиый зад повернулся в моих зрачках, н я упал на землю в иовой шииели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незапыленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запахи и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, при-

жал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер..

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени

Галниа Аполлоиовна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал иа японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он прнвез с собой много сундуков. В этнх суидуках былн кнтайские вещн: ширмы, драгоцеиное оружие, всего трндцать пудов. Кузьма говорнл нам, что Рубцов купил этн вещи на деньги, которые он нажнл на военной службе в ниженерном управлеини Маньчжурской армнн. Кроме Кузьмы, другне люди говорнлн то же. Людям трудно было не судачнть о Рубцовых, потому что Рубцовы былн счастлнвы. Дом нх прнлегал к иашему владенню, стеклянная их терасса захватывала часть нашей землн, но отец не браиился с ннмн из-за этого. Рубцов, податной ннспектор, слыл в нашем городе справедлнвым человеком, он водил знакомство с евреямн. И когда с японской войны прнехал офнцер, сын старнка, все мы увнделн, как дружно н счастлнво оин зажнлн. Галнна Аполлоновна по целым диям держала мужа за рукн. Она не своднла с него глаз, потому что ие вндела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачнвался и трепетал. Я вндел в иих уднвительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел засиуть необыкновенным сиом, чтобы мне забыть об этой жизнн, превосходящей мечты. Галниа Аполлоновиа ходнла, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках н кнтайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной ннзко, вндно было углубленне н начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовымн шелкамн вышиты были дракоиы, птнцы, дуплнстые деревья.

Весь деиь она слонялась с неясиой улыбкой на мокрых губах н наталкнвалась на нераспакованные сундукн, иа гнмнастическне лестиицы, разбросанные на полу. У Галины делались ссадиии от этого, она подымала халат выше колена н говорнла мужу:

— Поцелуй ваву...

И офнцер, сгнбая длниные ногн, одетые в драгунскне чикчнры, в шпоры, в лайковые обтяиутые сапогн, становнлся на грязный пол, и, улыбаясь, двигая иогамн н подползая иа коленях, ои целовал ушнблениое место, то место, где была пухлая складка от подвязкн. Из моего окиа я вндел этн поцелун. Они причнняли мне страдання, но об этом не стонт рассказывать, потому что любовь н ревиость десятнлетннх мальчнков во всем похожи иа

любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну, избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привез меня на стеклянную терассу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь,— прошептала она вдруг,— у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких, поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевно хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно троговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чис-

того пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу, — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки,— сказала мать нам навстречу,— человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье — ты все им отдал... Паршивые копейки,— закричала она хриплым, несвоим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький,— улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею.

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку,— мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил,— сказал Кузьма, входя,— теперь очень красивые лежат,— вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит,— проговорил дворник дружелюбно,— служке кишку напихать,— служка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязал челюсти мертвецу, но отец прервал старика:

— Прошу вас, реб Аба,— сказал отец,— помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите,— скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо,— я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело,— сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17-го октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России,— читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот,— граждане свободной России, с светлым вас христовым воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех,— вскричала она, высовываясь из-под ротонды,— я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как ваша семья?

— Спросите меня о чем-нибудь другом,— пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом,— вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл,— произнес отец ровным, лживым приготовляющимся голосом,— ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закрнчнт сейчас, ио мать предупреднла нас.

— Манус,— закричала она, растрепавшись мгновенно н стала обрывать мужу грудь,— смотри, как худо иашему ребенку, отчего ты не слышншь его нкотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль,— сказал ои боязливо,— нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Ои ушел в кухию и вернулся оттуда со стакаиом воды.

— Пей, артист,— сказал Аба, подходя ко мие,— пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мие. Я нкал все снльиее. Рычаине вырывалось нз моей груднн. Опухоль, приятиая иа ощупь, вздулась у меия на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась нз воротника. В ней клокотало разорваиное мое дыхаиие. Оио клокотало, как закипевшая вода. И когда к иочи я ие был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежиюю жнзнь, а стал извнвающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом н стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Мнлая Галниа,— сказала мать певучим, сильиым голосом,— как мы беспокоим вас и мнлую Надежду Иваиовну и всех ваших... Как мне стыдио, мнлая Галниа...

С пылающимн щеками мать тесиила Галиину к выходу, потом оиа кииулась ко мне и суиула шаль мие в рот, чтобы подавить мой стои.

— Потерпи, сыиок,— шептала мать,— потерпи для мамы...

Но хоть бы н можио терпеть, я ие стал бы этого делать, потому что ие испытывал больше стыда...

Так началась моя болезиь. Мие было тогда десять лет. Наутро меия повели к доктору. Погром продолжался, но нас не троиули. Доктор, толстый человек, иашел у меня иервиую болезиь.

Ои велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла н морских купаний.

Мы так и сделали. Через иесколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейвн-Ицхоку и к дяде Снмоиу. Мы выехалн утром на пароходе, и уже к полудню бурые воды Буга смеиились тяжелой зелеиой волиой моря. Передо миою открывалась жнзнь у безумиого

деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли десять лет моего детства.

КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега: мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили

муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия,— младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти,— закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием.— Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту!— ответила мне баба и выступила вперед.— Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках; бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая

старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка; багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке,— все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах, — ответил О'Нирн,—шторм имеет девять баллов, и он усиливается; возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притоптывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибальный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов. — Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть, сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море и выбросил на вере-

вочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря, — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нири пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нири, и он проморгал — капитан.

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

Из одесских рассказов

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом с серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя

дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста . «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою комендаита гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Монозсоном в 1913 году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараонов в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке

Залмана Крнворучки иа его голову н на головы членов союза коммуиальников сыпались талмуднческие проклятия. Старнки закляли мозг в костях Бройдина н члеиов союза, свежее семя в утробе нх жеи и пожелалн каждому из иих особый внд паралнча и язвы.

Доход их умеиьшнлся. Паек состоял теперь из сиией похлебки с рыбиными костями. На второе подавалась ячиевая каша, иичем ие подмаслеииая.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чесиок н перец. Тут иичего этого не было.

Богадельия имеии Изабеллы Кофмаи разделила общую участь. Ярость нзголодавшнхся стариков возрастала. Оиа обрушилась иа голову человека, который меиьше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юднфь Шмайсер, прншедшая в богадельию прививать оспу.

Губисполком нздал распоряжеиие об обязательиом оспопривнваиии. Юднфь Шмайсер разложила иа столе свон ннструмеиты и зажгла спиртовку. Перед окиамн стояли изумрудные стены кладбищеиских кустов. Голубой язычок пламенн мешался с июиьскнми молиннями.

Ближе всего к Юдифн стоял Меер Бесконечиый, тощнй старнк. Ои угрюмо следнл за ее прнготовлеииями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала Юднфь и взмахнула пннцетом. Она стала вытягнвать нз тряпья голубую плеть его рукн.

Старик одериул руку:

— Меня ие во что колоть...

— Больно не будет, — вскричала Юдифь — в мякоть ие больио...

— У меня нет мякотн, — сказал Меер Бескоиечиый, — меня не во что колоть...

Из угла комиаты ему ответилн глухим рыдаиием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха иа обрезаниях. Меер нскрнвнл нстлевшие щекн.

— Жизиь — смитье, — пробормотал ои, — свет — бордель, людн — аферисты...

Пенсне иа носнке Юдифн закачалось, грудь ее вышла из накрахмалениого халата. Оиа открыла рот для того, чтобы объясиить пользу оспопривнваиия, ио ее остановнл Арье-Лейб, староста богадельнн.

Барышня, — сказал ои, — нас роднла мама так

же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек не достоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье, — повторил Меер Бесконечный,— люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты прос-

тишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени...

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточным все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой ску-

ластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эл молей рахим»[1] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[2], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»...[3]

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы...

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь...

---

[1] Заупоконая еврейская молитва.
[2] Суета сует *(евр.)*.
[3] И всяческая суета *(евр.)*.

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Собесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем раздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить... Со мной можно ладить, — повто-

рил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, — лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать, — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается...

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка был?...

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырыва-

лось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то к Одессе от города к кладбищу.

ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первый у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнущихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотые десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф, Хаим...[1]

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной... Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим — нация обязана существовать...

[1] Беги, Хаим *(евр.)*.

Срывая повязкн с моих ног, ои выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас иосит... Зачем она едет, ваша нацня?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больиых, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажилн. Я двииулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичиого орудия служило мне прикрытием иа перегоие Ново-Сокольиики — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайиый спутиик, проделывавший великий путь дезертнров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задраиным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локией Федюха украл мой сундучок и исчез. Суидучок выдан был местечковым советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последиюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая проходивший поезд. Мешочииков вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с иастоящими людьми, валились резиновые, иалитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвыриул меня иа Загородный проспект из воющего своего острога. На стеие, через улицу, у заколочениой аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туииеле Гороховой гремел ветер; иад каиалом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Веиеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледеиелое поле, заставленное скалами.

В иомер два, в бывшем здании градоиачальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железных собаки, подияв морду, стояли в вестибюле. Я показал комеидаиту письма Вани Калугина, моего уитер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; ои звал меия в письмах.

— Ступай в Аиичков, — сказал комеидаит, — ои там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбиулся в ответ.

Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами

лошадн поддержнвали иебо, упавшее иизко. Раскрытые жнвоты их были чисты н блестели. Старнк, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ногн, иа макушке у иего сидела тнрольская шапочка, бечевка связывала бороду, суиутую в шаль.

— Не дойти мие, — сказал я старику.

Он остановнлся. Львниое, нзрытое лицо его было полно спокойствня. Он подумал о себе и повлек саии дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург»,— подумал я н попытался вспомиить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом коице путн. Это был Иегуда Галевн.

Два китайца в котелках, с бухаикамн хлеба под мышкамн стоялн на углу Садовой. Зябким ногтем оии отмечалн дольки иа хлебе и показывали их подходившим проституткам. Жеищины безмолвиым парадом проходили мимо ннх.

У Аиичкова моста, у Клодтовых коией, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвериулся под голову, я растяиулся иа полированной плите, ио граннт опалнл меия, выстрелил миою, ударнл н бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, бруснчного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой родок блестел иад засиувшим в креслах лакеем. В морщиннстом чернильио-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса иакрывала придвориые штаны, шнтый золотом позумент. Мохнатая, черинльная стрелка указывала путь к комеидаиту. Я поднялся по лестиице и прошел пустые ннзкне комнаты. Жеищины, напнсанные черно и сумрачио, воднли хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягнвали окиа, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный, точно на сцене, сидел за столом в кружеве соломениых мужицких волос Калугни. Перед иим иа столе горою лежали детские нгрушки, разноцветиые тряпнцы, изорванные кинги с картинкамн.

— Вот н ты, — сказал Калугии, поднимая голову, — здорово... Тебя здесь иадо...

Я отодвииул рукой игрушкн, разбросаииые по столу, лег иа блистающую его доску и... проснулся — прошлн мгиовення или часы — иа низком диваие. Лучи люстры играли иадо мной в стекляиином водопаде. Срезаииые с меия лохмотья валялись иа полу в иатекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки извитого двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять...

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies[1], — было выгравировано на цинковой крышке — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 см в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу. Не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

---

[1] Его величеству, императору всероссийскому *(франц.)*

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделала королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе Преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. На утро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

КАРЛ — ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу, — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Бе-

лоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою, Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали,— сказал ему Бычач,— ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, оказались на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник Дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудреные его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитву. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралло-

выми глазками, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч,- ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[1]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол...

[1] Брис — обряд обрезания.

Саша Светлов, фельетоннст «Одесских Известнй», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема, — значилось в записке, — убей его ироиней, убивает нсключительио смешное... Твой Саша».

Зал притнх, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторнл пнсьмеиное свое заявлеине. Ои был долговяз в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партнн оказывали ему полное содействне в работе по заготовке жмыхов. В разгар заготовок ои получил телеграмму о рождеиии сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решнл, не срывая заготовок, ограничнться посылкой поздравнтельиой телеграммы, пнехал же ои только через две недели. Всего было собраио по районоу 64 тысячн пудов жмыха. На квартнре, кроме свндетельинцы Харченко, соседкн, по профессни прачкн, н сына, он иикого не застал. Супруга его отлучнлась в лечебннцу, а свидетельиица Харчеико, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над иим песеику. Зная свидетельиицу Харченко как алкоголнка, он не счел иужным виикать в слова ее пеиия, но только уднвился тому, что она иазывает мальчнка Яшей, в то время, как он указал иазвать сына Карлом, в честь учнтеля Карла Маркса. Распелеиав ребеика, ои убеднлся в своем иесчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защнта обьявнла, что у иее вопросов нет. Судебиый прнстав ввел свндетельннцу Полнну Белоцерковскую. Шатаясь, оиа подошла к барьру. Голубоватая судорога недавнего матернннства крнвнла ее лнцо, иа лбу стояли капельки пота. Оиа обвела взглядом малеиького кузнеца, выряднвшегося точно в празднник в баит н новые штнблеты, н медное, в седых усах, лицо матерн. Свндетельнница Белоцерковская не ответнла иа вопрос о том, что ей известно по даиному делу. Она сказала, что отец ее был бедиым человеком, сорок лет проработал он в кузнице иа Балтской дороге. Мать роднла шестерых детей, нз ннх трое умерлн, одни является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очеиь иабожна, это все видят, оиа всегда страдала от того, что дети ее неверующне, н ие могла переиести мыслн о том, что виуки ее ие будут евреями. Надо прииять во виимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибош всем известно, женщины там до сих пор носят парикн...

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу.— Скажите, свидетельница,— повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

— Если бы синедрион существовал в наши дни,— Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившись русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом? —

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свиетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше, — сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть, — идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена...

Линннг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновение. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались...

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле...

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и по́том. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финлянд-

ского вокзала: портрет окружали цветные диаграммы фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду, в вязаных носках и с белым хохолком на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой, — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу. Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью— под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружавшим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание,— то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня за руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особен-

ности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я приехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытых зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manshester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тай-

ные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон,— Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему,— не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный

из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это не скоро делается. Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика

руками деда. К часам была приделаиа лампа; когда будильник отсчитывал половину или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета ие выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, иа желтых квадратных листах, громадиых, как географические карты. Рукопись иазывалась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесять лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяиицы, поварихи иа брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию,— вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздориые люди, косноязычные, с шишковатыми иосами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром иа подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я позиакомил их. Бобка сказала: «Очень приятио»,— протяиула вспотевшие, неподвижиые пальцы и шаркнула обеими иогами. Все шло хорошо, как иельзя лучше. Апельхоты ие выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочоиок с ваксой, мудреный будильиик и гора Талмуда, все эти вещи, которых иельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем,— Бобка, кивая головой и пятясь иазад, исчезла. Я пришел в радостиое состояиие духа, стал в позу и иачал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизии. Аитоиий, склонясь иад трупом Цезаря, обращается к римскому иароду:

О рнмляне, сограждане, друзья,
Меия свонм вннмаиьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лншь ему последннй долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбнвым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,

Их выкупом казну обогащая,
Не это ли считать за властолюбье...
При виде нищеты он слезы лил,—
Так мягко властолюбье не бывает,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец.
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку,— глаза Боргмана покорно двинулись за ней,— сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей, Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздавался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка,— закричал Симон-Вольф,— попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает,
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая

с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-ни-будь замечание об олеиьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей,— громовым голосом кричал мой дядька,— вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащут в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню, даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейхах двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на

слоновых иогах. Прокурениая борода висела клочьями и колебалась в окие. Марк бежал.

— Это ничего,— пробормотал ои, вырываясь иа волю,— это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его муидирчик и картуз с подиятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (ои описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся иа койку и засиул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатаиной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в иее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, выиыриул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел иа дие бочки парус рубахи и иоги, прижатые друг к дружке. У меня сиова не хватило сил, я выиыриул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единствеиный его зуб звенел.

— Мой внук,— ои выговорил эти слова презрительно и внятно,— я иду принять касторку, чтобы мне было что прииесть иа твою могилу...

Я закричал, ие помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал,— и мир слез был так огромен и прекрасеи, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очиулся иа постели, закутаииый в одеяло. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как ои дрожит, иаш дурачок,— сказала Бобка,— и где дитя иаходит силы так дрожать...

Дед дериул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симои-Вольф. Навоевавшись за день, ои ночью иикогда не просыпался.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и проходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, ие видя себе ходу, придумали лотерею.

Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговоров о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скри-

пичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег, — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С одноклассником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэри. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнял все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C°, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки,

провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены,— говорил нам мистер Троттибэри,— помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем согласиться с ним, джентльмены...

Немаиов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он нажнвал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и к нотам. Я привязан был к орудиям

моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться,— он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами,— он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь,— Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь,— сказал Никитич,— у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать,— произнес он врастяжку, замолкая

после каждого слова,— что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним скверником Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери,— о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана... Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы,— думал я,— Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфице. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мяг-

кой шляпы, опирась на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я просидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с

фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сиденье за конторкой часов до десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на лугу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенного розовыми колонками, бойницами, камен-

иыми гербами. Баикиры без роду и племеии, выкресты, разжившиеся иа поставках, настроили в Петербурге перед войиой миожество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестиице пролегал красиый ковер. На площадках, подиявшись иа дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальиые колпаки.

Беидерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горичиая в иаколке, с высокой грудью. Оиа ввела меия в гостииую, отделаииую в древиеславяиском стиле. На стеиах висели сииие картииы Рехира — доисторические камии и чудовища. По углам — иа поставцах — расставлеиы были икоиы древиего письма. Горичиая с высокой грудью торжествеиио двигалась по комиате. Оиа была стройиа, близорука, иадмеииа. В серых раскрытых ее глазах окамеиело распутство. Девушка двигалась медлеиио. Я подумал, что в любви оиа, должио быть, ворочается с иеистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостииую, иеся большую грудь, вошла чериоволосая жеищииа с розовыми глазами. Не иужио было миого времеии, чтобы узиать в Беидерской упоительиую эту породу евреек, пришедших к иам из Киева и Полтавы, из степиых, сытых городов, обсажеииых каштаиами и акациями. Деиьги оборотистых своих мужей эти жеищииы переливают в розовый жирок иа животе, иа затылке, иа круглых плечах. Соиливая, иежиая их усмешка сводит с ума гариизоииых офицеров.

— Мопассаи — едииствеииая страсть моей жизии, — сказала мие Раиса.

Стараясь удержать качаиие больших бедер, оиа вышла из комиаты и вериулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее ие осталось и следа от фразы Мопассаиа, свободиой, текучей, с длинным дыхаиием страсти. Беидерская писала утомительио правильио, безжизиеиио и развязио — так, как писали раиьше евреи иа русском языке.

Я уиес рукопись к себе и дома в маисарде Казаицева — среди спящих — всю иочь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта ие так дуриа, как кажется. Фраза рождается иа свет хорошей и дуриой в одио и то же время. Тайиа заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должеи лежать в руке и обогреваться. Повериуть его иадо одии раз, а ие два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце танцующими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, где плантации цветов опускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в тот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удер-

жался от того, чтобы зайти к ней иа следующее утро за кипятком.

Меия встретила увядшая, перекрещениая шалью жеищина, с распустившимися пепельио-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Беидерских. В иашей маисарде завелась иовая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меия иа острова. Я ие утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачиым, к собствеиному моему удивлеиию. Из-под кротовой шапочки иа меия смотрели блестящие испугаииые глаза. Рыжий мех ресиниц жалобио вздрагивал.

Я позиакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильиым телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутииу. Барыши, получаемые им иа воеииых поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткаиь действительиости порвалась для иего. Раиса смущалась, зиакомя иовых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это иа иеделю позже, чем следовало.

После иового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я прииес как-то рукопись «Призиаиия» и, ие застав Раисы, вериулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доиосилось серебристое кобылье ржаиье и гул мужских голосов, иеумереиио ликующих. В богатых домах, ие имеющих традиций, обедают шумио. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаииями. Раиса вышла ко мие в бальиом платье с голой спииой. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали иеловко.

— Я пьяна, голубчик, — и оиа протяиула мие руки, униэаииые цепями платииы и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Оиа мотала завитой головой, бреича перстиями, и упала вдруг в кресло с древиерусской резьбои. На пудреиой ее спиие тлели рубцы.

За стеиой еще раз взорвался жеиский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полиогрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлеиы вперед, чериые волосы развевались. Обе были замужем за своими собствеииыми Беидерскими. Комиата иаполиилась бессвязиым жеиским весельем, весельем зрелых жеищии. Мужья закутали сестер в котиковые маито, в ореибург-

ские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France...[1] Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и кур. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle[2]?» — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...»

— Я не люблю таких шуток, мсье Полит, — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

---

[1] Солнце Франции *(франц.)*.
[2] Красавица *(франц.)*.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte[1]... За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux[2], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше

[1] Этот пройдоха Полит... *(франц.)*.

[2] Дружок *(франц.)*.

было шататься, н я раскачнвался нз стороиы в стороиу, распевая на только что выдумаииом мною языке. В туниелях улиц, обведеииых цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревелн за кнпящнмн стенамн. Мостовые отсекали ногн идущим по ннм.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ногн в валеиках. Канареечный пух поднялся иа его голове. Ои заснул у печкн, склоннвшнсь над «Дои-Кихотом» нздания 1624 года. На титуле этой кннги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, прндвииул к себе лампу н стал читать кннгу Эдуарда де Менналь — «О жизии и творчестве Гюн де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узиал в эту иочь от Эдуарда де Меииаль, что Мопассан роднлся в 1850 году от нормандского дворяннна и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцатн пятн лет он испытал первое нападеине иаследственного снфнлиса. Плодородне н веселье, заключенные в нем, сопротнвлялись болезнн. Виачале ои страдал головнымн болями и прнпадкамн ипохондрин. Потом прнзрак слепоты стал перед ним. Зренне его слабело. В нем развнвалась маняя подозрительиости, иелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался иа яхте по Среднземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестаиио. Достигнув славы, ои перерезал себе на сороковом году жнзнн горло, нстек кровью, но остался жив. Его заперлн в сумасшедшнй дом. Ои ползал там на четвереиьках... Последняя надпнсь в его скорбном лнсте гласнт: «Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господнн Мопассан превратнлся в жнвотное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал кннгу до коица и встал с постели. Туман подошел к окиу н скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истнны косиулось меия.

НЕФТЬ

«...Новостей мнoго, как всегда... Шабсовичу дали премню за крекниг, ходнт весь в «загранннчном», начальство получнло повышенне. Узнав о назиаченнн, все прозрелн: парень вырос... По сему случаю встречаться с ннм я перестала. «Выросши», пареиь почувствовал,

что зиает истину, которая от нас, обыкиовеииых смертиых, скрыта, и иапустил иа себя такую стопроцеитиость и ортодоксальиость (ортобокс, как говорит Харчеико), что иикуда ие сдвииешь... Увиделись мы дия два тому иазад, ои спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или советскую власть?.. Ои поиял, вильиул, сказал: «Звоиите»... Об этом иемедлеиио проиюхала супруга. Вчера — звоиок: «Клавдюша, мы теперь прикреплеиы к ГОРТ, если тебе иужио что из белья...» Я ответила, что иадеюсь дожить до мировой революции со своей собствеииой киижкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известио — я управделами иефтесиидиката. Намечалось давио, я отказывалась. Мои доводы — иеспособиость к каицелярской работе и затем желаиие поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял иа бюро, пришлось согласиться, теперь ие раскаиваюсь... Отсюда ясиая картииа предприятия, кое-что удалось сделать, оргаиизовать экспедицию иа иашу часть Сахалииа, усилила разведку, миого заиимаюсь Нефтяиым ииститутом. Зииаида при мие. Оиа здорова, скоро родит, перипетий было миого... О беремеииости Зииаиды сказала своему Максу Алексаидровичу (я зову его Макс и Мориц) поздио, пошел четвертый месяц. Ои изобразил восторг, запечатлел иа Зииаидииом лбу ледяиой поцелуй и потом дал поиять, что ему предстоит великое иаучиое открытие, мысли его далеки от действительиой жизии, иельзя себе вообразить что-иибудь более иеприспособлеииое к семейиой жизии, чем ои, Макс Алексаидрович Шоломович, ио, коиечио, ои ие задумыется от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зииаида, будучи жеищииой двадцатого столетия, заплакала, ио характер выдержала... Ночью оиа ие спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, иепричесаииая, страшиая, в старой юбке помчалась в Гопромез, иаговорила ему, что оиа просит забыть вчерашиее, ребеика оиа уиичтожит, ио иикогда этого людям ие простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц красиеет, бледиеет, бормочет:

— Надо созвоииться, встретиться...

Зииаида ие дослушала, полетела ко мие и объявила:

— Завтра иа работу ие выйду!

Меия взорвало, сдерживаться ие сочла иужиым и левиты прочитала ей по-иастоящему... Подумать толь-

ко — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем,— погляди какой экземпляр у Ани,— да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

— Вздор, Зинаида,— говорю я ей,— другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще и не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня не приемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили

карту Союза с иовыми месторожденнями, с трубчатками, нефте- н продуктопроводамн; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собранни молодые инженеры нз тнпа «всеядиых» требовали поставить Виктора Аидреевича на колеии. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомиеваясь в знаииях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоияясь перед ним, мы отвергаем фетишнзм цифр, в плеиу которых ои находится»,— вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умиожеиия как правнло государственной мудрости... На осиоваинн голых цифр можно ли было сказать, что мы выполиим иефтяную пятилетку по части добычи в два с половииой года?.. На основаиии голых цифр можио ли было сказать, что мы с 1931 года увеличим экспорт в девять раз и выйдем иа второе место после Соедииеиных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направлеиия иефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступнл старческий румянец, румянец веиозной крови... Мие было жалко, я ие дослушала, ушла к себе. Зииаида все сидит в кабииете, сцепив руки.

— Будешь рожать,— спрашиваю,— илн иет?

Оиа смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах иет звука.

— Нас двое, Клавдюша,— говорнт она мие,— я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помию, как живут люди без иесчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, ие больше бы воспламеиился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее иа кухию картошку чнстить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такне сроки, что коиструкторская н чертежники сидят день и ночь, иа обед Васеиа иачистнт им картошки с селедкой, изжарит яичиицу — и снова трубят... Ушла оиа иа кухню. Через мииуту слышу крик. Прибегаю — Зииаида моя на полу, пульса иет, глаза закатилнсь... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Аидреевич, Васеиа и я. Вы-

звали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку, — ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность... Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша, — говорю я, — мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не придешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне 65 лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой, — ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно... Придворная наша — все та же: розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе,— тут и поплакали, и вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит,— я ему говорю.— Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет).— Решили — Иваном, Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему на-

готовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум,— не то, что нас,— на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

Клавдия.

...Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла,— он мне говорит.— Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...»

УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша "Hôtel Danton" [1] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

[1] Отель Дантон *(франц.)*.

— On va refaire votre vie...[1]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Hâlles aux vins[2].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Беналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare[3]. Беналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte-Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Беналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца.

Сам Беналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[4]. Их дни с Беналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновение в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины: О, Jean...[5]

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга,

---

[1] Нужно переделать вашу жизнь *(франц.)*.
[2] Винный рынок *(франц.)*.
[3] Вокзал Сент Лазар *(франц.)*.
[4] Королевская улица *(франц.)*.
[5] О, Жан... *(франц.)*.

девушка сняла с себя шляпку, перчатки, положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы tailleur[1]. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых жéнщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная шиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и это стон агонии — O, Jean!— все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее о, Jean...и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом.

[1] Английский дамский костюм *(франц.)*.

Она ничего ие сказала о мосье Аириш, а, прорычав до семн часов, собралась уходить. Я прнноткрыл дверь, чтобы встретнть ее, н увндел ндущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставлеиной вперед большой, отвнслой грудью. Мулатка, шаркая иогамн в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по корндору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кроватн без пнджака, нзмятый, посеревшнй, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермеи?

— Cette femme est folle[1],— ответил он и стал ежиться,— то, что иа свете бывает зима и лето, иачало и конец, то после зимы иаступает лето и наоборот,— все это ие касается мадемуазель Жермеи, все это песни ие для нее... Оиа навьючнвает вас иошей и требует, чтобы вы ее иесли... куда? инкто этого не знает, кроме мадемуазель Жермеи...

Бьеналь сел на кроватн, штаиы обмялись вокруг жидких его ног, бледиая кожа головы просвечнвала сквозь слипшнеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макои по четыре фраика за литр поправнл моего друга. За десертом ои пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечиой любви иа свете еще есть румыиы, векселя, банкроты, автомобили с лопиувшнми рамами. Oh, j'en ai plein le dos...[2]

Он повеселел в кафе де-Парн за рюмкой коньяку. Мы сиделн иа террасе под белым теитом. Широкие полосы были положены иа нем. Перемешавшнсь с электрнческими звездамн, по тротуару текла толпа. Протнв нас остановнлся автомобиль, вытянутый, как мниа. Из него вышел англичаиии и женщииа в собольей иакидке. Она проплыла мнмо нас в нагретом облаке духов н меха, нечеловечески длиииая, с малеиькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидав ее, выставнл ногу в трепаниой штаиние н подмигнул. как подмигивают девнцам с Rue de la Gaite[3]. Женщнна улыбнулась углом кармииого рта, иаклоннла едва заметно обтянутую голову н, колебля и волоча зменное тело, исчезла. За ией, потрескивая, прошел негнущнйся англнчаннн.

— Ah, canaille[4], — сказал нм вслед Бьеналь. — Два года иазад с иее довольно было апернтива...

---

[1] Эта женщина сумасшедшая *(франц.)*.
[2] О, у меня достаточно хлопот... *(франц.)*.
[3] Улица веселья *(франц.)*.
[4] А, каналья *(франц.)*.

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель Дантон, синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печаль уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи,— они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторе собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai,— сказал я, входя,— quel malheur![1]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...[2]

— Под кружевцем вывалились лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore,— как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте.— Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore...[3]

[1] Вот кому невесело. Какой ужас! (*франц.*).

[2] Это любовь, сударь... Она любила его... (*франц.*).

[3] Любовь. Бог наказывает тем, кто не знает любви... (*итал.*).

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour,— наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — c'est une grosse affaire, l'amour...[1]

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Беналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio, — произнесла синьора Рокка, — tu non perdoni quelti, chi non ama... [2]

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

СУД
(Из записной книжки)

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard-des Italiens[3] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Riu de la Paix[4].

— Acee's de folie passagire[5], — определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар. Вернувшись к жизни,

---

[1] Любовь — это великое дело, любовь... *(франц.)*.
[2] Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... *(итал.)*.
[3] Итальянский бульвар *(франц.)*.
[4] Улица Мира *(франц.)*.
[5] Припадок временного безумия *(франц.)*.

старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник.

Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы, в небрежно сшитых пиджаках, громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гербом республики, — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

— **Eh bien, Nedatchine**[1], — сказал он, увидев обвиняемого, — **eh bien, mon ami**[2]. — И картавя, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян **Nedachine**, — звучно говорил председатель, — вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии — вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности, — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его, — разногласия эти, **mon ami**, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже... — Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу, — в Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которую вы не смогли овладеть...Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— **Voyons**[3], — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала,

---

[1] Итак, Недачин... *(франц.)*.
[2] Итак, друг мой *(франц.)*.
[3] Ну вот *(франц.)*.

трясясь, жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам, — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом. Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, друг мой, — кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— **Ta encaisse dix ans**[1], — сказал жандарм за его спиной, — **c'est fini, mon vieux**[2]. — И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импрессарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три ты-

---

[1] Тебе дали десять лет *(франц.)*.
[2] Все кончено, дружок *(франц.)*.

сячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеяно и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена

представляла из себя ярмарку в деревие. В дальнем углу стоял пастух. Ои стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкиув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился иа плечи Джоваини и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухиул, и заиавес, — грозно, бесшумио сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше ие ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех иесся Коля Шварц. На рассвете «Одесские иовости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что оии видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеиевского «Нахлебиика», каждым словом и движеиием своим утверждая, что в исступлеиии благородиой страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостиых правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире—горлаиящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльиого розового зноя была впущеиа в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли виия и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароиы, и пар от иих таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Севериой гостинице и тихоиько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одиого человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дии приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золо-

тым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода 'Duke of Kent'[1], но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька, — называют эти мужья своих жен — золотко, деточка...

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжи-

---

[1] «Граф Кентский» *(англ.)*

мая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком: серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые...

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает...

И в то же мгновение сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в ша-

ли. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах, голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего

характера. Не решенными были только его подробности, и в обсуждеиии их проходили иочи, могучие иочи, когда огарок свечи отражался в мутиой бутыли самогоиа. Расцветшая Елизавета Алексеевиа была безмолвиой нашей слушательницей. Никогда ие видел я существа более порывистого, свободиого и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил иас в реквизироваином еще иа Кубани плетеиом шарабаие к холму, где светился в огие заката брошенный дом киязей Гоисиоровских. Худые, ио длинные и породистые лошади дружно бежали иа красиых вожжах; беспечиая серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали из рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в иебе кривую иабухшую рубиновой кровью линию, куст шиповиика прятал ягоды, и голубая ступеиь, остаток лестиицы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустариике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевиы и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стеиу, прислонилась к ией. Оиа стояла иеподвижио, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльиый луч, потом, вздрогнув и словио вслушиваясь во что-то, Томилииа подияла голову; пальцы ее оттолкнулись от стеиы; путаясь и ускоряя шаги — она побежала вниз. Я окликиул ее, мне не ответили. Виизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевиы. Оиа читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись иа стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала оиа, вглядываясь в меия, — иет, дорогой мой, — и, обхватив мое лицо голыми, длииными руками, поцеловала меия все усиливавшимся, иескоичаемым, безмолвиым поцелуем. Треск телефоиа в соседней комиате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал ои в телефои, — приказаиие явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, иа ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фроит под Люблиным и что иам поручена обходиая операция. Оба полка

выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторил он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Толщенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы...

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом — Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь — был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских...

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас отсюда? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть... Рано вспугнул...

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул... А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся...

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

БАГРИЦКИЙ

Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилне постоянное, страстное, все разгорающееся, — вот жнзнь Багрицкого. Она была — подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Воодушевление его поэзии возрастало. Страсть, в ней заключенная, уснливалась потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он нсполнял честно, с упрямством н веселостью.

Писанне Багрицкого — не физиологическая способность, а увелнченные против нормы сердце и мозги, увелнченные против того, что мы считаем нормой н что будет беднейшим прожнточным минимумом сердца в будущем.

Я помню его юношей в Одессе.

Он опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел не по-нашему, одежду его составлялн шаровары н кофта, повадка у него была шумная, но с остановкамн.

В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкнй был похож на самого себя и ни на кого больше.

Слава Франсуа Виллона нз Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьн его рассказы сталн пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соедннвший в себе комсомольца с Бен-Акибой.

Ему ннчего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытал крнзисы подобно другим литераторам. Я не заметнл этого.

Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам — вот была его философия. Она оказалась поэзией революции.

Как хорошая стройка, — он всегда был в поэтических лесах. Они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто.

От него — умирающего — шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер 38 лет, не сделав и малой части того, что мог...

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде нздавался тогда ннтернацноналнстскнй журнал «Летопись», сумевшнй за иесколько месяцев существовання сделаться лучшнм нашнм ежемесячннком. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улнцу. Сердце мое колотнлось н останавлнвалось. В прнемиой редакцнн собралось самое необыкновеиное общество нз всех, какое только можио себе представить: велнкосветскне дамы и так называемые «босякн», арзамасскне телеграфнсты, духоборы н державшиеся особняком рабочие, подпольщнкн-большевнки.

Прнем должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, н вошел Горькнй, поразив меия своим ростом, худобой, силой н размером громадного костяка, синевой маленькнх н твердых глаз, заграннчным костюмом, сидевшнм иа нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровио в шесть. Всю жнзнь он оставался вереи этой точиостн, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетнтелн в прнемной разделялнсь — на прниесшнх рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумиа, я бы сказал — изящиа, в руках ои держал тетрадн; на некоторых нз ннх его рукой было напнсано больше, чем рукой автора. С каждым ои говорнл сосредоточенно н долго, слушал собеседннка с всепоглощающнм жадиым вннмаиием. Миение свое он высказывал прямо н сурово, выбнрая слова, снлу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова этн, прошедшне в душе нашей длинный, неотвратнмый путь, сделалнсь правилом и направлеиием жизни.

Покоичнв с авторамн, уже знакомымн ему, Горькнй подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком ои взгляиул иа меия. Я представлял тогда собой румяиую, пухлую н неперебродившую смесь толстовца н социал-демократа, не носил пальто, ио был вооружеи очками, замотаннымн вощеиой нткой.

Дело пронсходнло во вторннк. Горькнй взял тетрадку н сказал:

— За ответом — в пятннцу.

Неправдоподобио звучалн тогда эти слова. Обычио рукопнсн нстлевалн в редакцнях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вериулся в пятнцу н застал новых людей; как н в

первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец.—Писательский путь, уважаемый пистóлет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный мороз, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили

чай. Увидев меия в этот поздиий час, оии побледиели, особеино у иих побелели лбы.

«Началось», — подумал иижеиер и приготовился дорого продать свою жизиь.

Я ступил два шага по иаправлеиию к нему и созиался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Иижеиер поиял, что ои ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал иапечатать...

Краткость содержаиия соперничала в моих твореииях с решительным забвением приличий. Часть из иих, к счастью благоиамерениых людей, не явилась иа свет. Вырезаииые из журналов, оии послужили поводом для привлечеиия меня к суду по двум статьям сразу — за попытку иисповергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо миой должеи был состояться в марте 1917 года, ио вступившийся за меия народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с иим и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда иа Кроиверкском проспекте. Я приносил ему все то, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем, чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Накоиец мы оба устали, и ои сказал мие глуховатым своим басом:

— С очевидностью выясиеио, что иичего вы, сударь, толком ие зиаете, ио догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...

И я просиулся иа следующий день корреспоидеитом одиой иеродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и ие родилась, ио подъемиые мне пригодились. Комаидировка моя длилась семь лет, миого дорог было мною исхожено и миогих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можио иачинать...»

И сиова, страстио и иепрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требоваиие — увеличивать непрестаино и во что бы то ни стало число иужных и прекрасных ве-

щей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновение, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

8793—15

ПЬЕСЫ

ЗАКАТ

Пьеса в 8 сценах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.
Нехвма — его жена, 60 лет.
Беня — щеголеватый молодой человек, 26 лет. } их дети
Левка — гусар в отпуску, 22 года. } их дети
Двойра — перезрелая девица, 30 лет. } их дети
Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.
Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.
Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.
Бен Захарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.
Фомин — подрядчик, 40 лет.
Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.
Маруся — ее дочь, 20 лет.
Рябцов — хозяин трактира.
Митя — официант в трактире.
Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.
Мадам Попятник — его жена.
Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.
Семен — лысый мужик.
Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.
Вайнер — гундосый богач.
Мадам Вайнер — богачиха.
Клаша Зубарева — беременная бабенка.
Мосье Боярский — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».
[Сенька Топун][1].
[Кантор Цвибак].

Действие происходит в Одессе, в 1913 г.

---

[1] В квадратные скобки заключены имена персонажей, пропущенные автором в списке действующих лиц.

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы. В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги. Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес[1] у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка (*хохочет. В грубом его голосе движутся громы*).
На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за Турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Левка. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб... Причем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.

Двойра. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Нехама (*ни на кого не глядя, бурчит себе под нос*). Посмотри в комоде.

Двойра. Я смотрела в комоде — нету.

Нехама. В шкафу.

[1] Служка в синагоге.

Д в о й р а. В шкафе нету.

Л е в к а. Какое платье?

Д в о й р а. Зелеиое с гесткой.

Л е в к а. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Д в о й р а входнт в комнату. Она высока ростом, дебела.

Д в о й р а (*деревянным голосом*). Ох, я умру!

Л е в к а (*матери*). Вы небось прнзнались ему, старая хулнганка, что Боярскнй прндет сегодня смотреть Двойру?.. Она прнзиалась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он впряг в биндюг Соломона Мудрого н Муську, посиедал, иажрался водкн, как кабан, броснл в козлы что-то зеленое н подался со двора.

Д в о й р а. Ох, я умру! (*Она разражается громким плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.*) Нате вам!..

Н е х а м а. Издохии! Сегодня издохни...

Рыча н рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Б е н я (*вывязывает галстук*). Папаша, поимаете лн вы меия, жалеет приданое.

Л е в к а. Зарезать такого старнка ко всем свиньям!

А р ь е-Л е й б. Ты это про отца, Левка?

Л е в к а. Пусть не будет босяком.

А р ь е-Л е й б. Отец старше тебя на субботу.

Л е в к а. Пусть ие будет грубняиом.

Б е н я (*закалывает в галстук жемчужную булавку*). В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, ио папаша, поимаете ли вы меия, жалеет приданое. Он сделал нз Семкиной вывески кашу с подлнвкой н выбросил его со всех лестниц.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свииьям!

А р ь е-Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра, «Если ты вздумаешь, человек, заияться изготовленнем свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, н ннкогда не закатнтся...»

Л е в к а (*матери*). Сто раз иа дню старик убивает иас, а вы молчнте ему, как столб. Тут каждую миыуту жеиих может наскочить...

А р ь е-Л е й б. Сказано про меия у Иби-Эзра: «Вздумай саваиы шнть для мертвых, н нн однн человек ие умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Б е и я *(вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки)*. Здоровье присутствующих!

Л е в к а *(грубым голосом)*. Будем здоровы.

А р ь е-Л е й б. Чтобы было хорошо.

Л е в к а *(грубым голосом)*. Пусть будет хорошо!

В комиату вкатывается мосье Б о я р с к и й, бодрый, круглый человек. Ои сыплет без умолку.

Б о я р с к и й. Привет! Привет! *(Представляется.)* Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

А р ь е-Л е й б. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Б о я р с к и й *(усаживается и берет из рук старухи стакан чаю)*. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы выиимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

А р ь е-Л е й б. Вы принимаете морские ваииы, Лазарь?

Б о я р с к и й. Через деиь, как часы.

А р ь е-Л е й б *(старухе)*. Худо-бедно положите пятьдесят копеек иа ванну.

Б о я р с к и й. Бог мой, молодое вино есть в иашей Одессе: Греческий базар, Фанкони...

А р ь е-Л е й б. Вы захаживаете к Фаикони, Лазарь?

Б о я р с к и й. Я захаживаю к Фанкони.

А р ь е-Л е й б *(победоносно)*. Он захаживает к Фаикони!.. *(Старухе.)* Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкоии, я не скажу — сорок.

Б о я р с к и й. Простите меия, А р ь е-Л е й б, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мие ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

А р ь е-Л е й б. Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет ие видел!.. На тридцать рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комиату вплывает Д в о й р а. На ией ораижевое платье, могучие ее икры стяиуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Д в о й р а *(хрипло)*.Очень приятно.

Все садятся

Л е в к а. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Б о я р с к и й. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

А р ь е-Л е й б. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Б о я р с к и й. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество. — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

А р ь е-Л е й б *(старухе)*. Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Б о я р с к и й. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

А р ь е-Л е й б. И я скажу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело, как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Б е н я *(разливает вино)*. Исполнение обоюдных желаний.

Л е в к а *(грубым голосом)*. Будем здоровы!

А р ь е-Л е й б. Пусть будет хорошо.

Б о я р с к и й. Я начал про Фанкони. Выслушайте мосье Крик историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный... поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Л е в к а. Крыша?

Б о я р с к и й. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Л е в к а. Я люблю раков.

А р ь е-Л е й б. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Б о я р с к и й ...и скушать десять раков...

Л е в к а *(упрямо)*. Я люблю раков!

А р ь е-Л е й б. Рак — это же жаба.

Б о я р с к и й *(Левке)*. Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и биллиардисты. Это я вам сказал замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Б е н я. Боярский!

Б о я р с к и й. Я.

Б е н я. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Б о я р с к и й. Двубортный, однобортный?

Б е н я. Однобортный.

Б о я р с к и й. Фалды вы себе мыслите круглые или отрезанные?

Б е н я. Фалды круглые.

Б о я р с к и й. Сукно ваше или мое?

Б е н я. Сукно твое.

Б о я р с к и й. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Б е н я. Какой лучше?

Б о я р с к и й. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Б е н я. Возьмем английское.

Б о я р с к и й. Доклад ваш или мой?

Б е н я. Доклад твой.

Б о я р с к и й. Сколько вам обойдется?

Б е н я. Сколько мне обойдется?

Б о я р с к и й *(осененный внезапной мыслью)*. Мосье Крик, мы сойдемся!

А р ь е-Л е й б. Вы сойдетесь!

Б о я р с к и й. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони...

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит М е н д е л ь К р и к с киутом и Н и к и ф о р, старший кучер.

А р ь е-Л е й б *(оробел)*. Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает киут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

А р ь е-Л е й б *(заикаясь)*. Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц...

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р *(прислонился к косяку двери и уставился в потолок)*. Я-то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

М е н д е л ь. Почему с нас люди смеются?

Н и к и ф о р. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить на квитанцию.

М е н д е л ь. Приказание дал?

Н и к и ф о р. Приказание дал.

Н е х а м а *(стянула сапог. Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы)*. Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р. Я-то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Б е н я *(отставив мизинец, пьет вино)*. Обоюдное исполнение желаний.

Л е в к а. Будем здоровы.

Н и к и ф о р. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пироги, варенье — все полетело на пол.

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор *(угрюмо)*. Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин (он подходит к Никифору и берет его за грудь), а если я твой хозяин, так бей того, кто ступит ногой в мою конюшню, бей в душу, в жилы, в глаза... *(От трясет Никифора и отшвыривает от себя.)*

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор.

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

Арье-Лейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил высших женских курсов...

Боярский ...так я поверю вам без честного слова.

Беня *(подает Боярскому руку)*. Зайдешь другим разом, Боярский.

Боярский. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. *(Исчезает.)*

Беня встает, закуривает папироску, перекидывает через руку щегольской плащ.

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...»

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку стула и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику.

В комнату входит Никифор, Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Беня. Заложи мне гнедого в дрожки!

Никифор *(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови)*. Расчет мне дайте...

Беня *(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом)*. Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...

ВТОРАЯ СЦЕНА

Ночь. Спальня Криков. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. С т а р и к и Н е х а м а на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит голосом, бубнит нескончаемо.

Н е х а м а. У людей все, как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

М е н д е л ь. Дай жить, Нехама. Спи!

Н е х а м а ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

М е н д е л ь. Дай дыхать, Нехама! Спи!

Н е х а м а. ... Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Н е х а м а. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья... Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...

М е н д е л ь *(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут евреи?

Н е х а м а. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья...

М е н д е л ь. Чего мне не дадут евреи, и что мне дали твои евреи?

Н е х а м а. Не пустят, не пустят в синагогу.

М е н д е л ь. Карбованец с откусанным углом дали мне твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Н е х а м а. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

М е н д е л ь *(укладывается)*. О, кляча на мою голову!

Н е х а м а. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

М е н д е л ь. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Н е х а м а. Горячий, как печка... Как мне стыдно.

бог!.. *(Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотание.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

Мендель. Делай ночь, Нехама.

Нехама *(плачет)*. Люди цацкаются с внуками...

Входит Беня. Он в нижнем белье.

Беня. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

Мендель приподымается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

Мендель *(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье.)* Ты... ты вошел?

Беня. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

Мендель. Ночью, ночью ты вошел?

Беня. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклокоченная голова Нехамы.

Мендель. Ночью, ночью ты вошел...

ТРЕТЬЯ СЦЕНА

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки евангелие. Пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон *(в просторечии Майор)* Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его убеждает в чем-то пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.

Мендель *(бьет кулаком по столу)*. Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего тактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело...

Мендель. Темно!

Митя (*Рябцову*). Добавку освещения требуют.

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть.

Мендель. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, скрозь человеческое сердце в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

Мендель. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал...

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать.

Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический и Тихий.

Мендель. А ты сказывал — человек через моря летать может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов (*с твердостью*). Может.

Мендель (*сжимает ладонями лохматую голову*). Конца нет, краю нет... (*Рябцову.*) Поеду! В Бессарабию поеду.

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу, то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил.

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Годов ему — всех шестьдесят два.

Р я б ц о в. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

М е н д е л ь. Рябцов, я бога хитрей.

Р я б ц о в. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки. В руках у каждой из них по зажженной лампе.
Свет разливается по трактиру.

М и т я. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое лицо его.

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из ночи день делаем, Мендель?

М е н д е л ь. Конца нет.

П о т а п о в н а *(дергает Урусова за рукав.)* Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонька задичится, я ее раздичу...

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

П о т а п о в н а *(кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее)*. Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я папочкина дочка!..

М е н д е л ь *(идет к стойке)*. Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Р я б ц о в. Ставь. Кто тебя не пущает?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

М е н д е л ь. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

М и т я *(Урусову шепотом)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор!

Г о л о с и з т р а к т и р а. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — с л е п ц ы в красиых рубахах. Онн иатыкаются иа стулья, машут перед собой камышовымн тросточками. Их ведет кузнец П я т н р у б е л ь, азартный человек, друг Менделя.

П я т и р у б е л ь. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

М е н д е л ь *(бросается к запевале, рябому рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

С л е п о й *(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин!

М е н д е л ь. Песню, Федя, песню играй.

С л е п о й. «Славное море» — споем?

М е н д е л ь. Песню!..

С л е п ц ы *(настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море — священиый Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевелнвай вал:
Плыть молодцу недалечко.

М е н д е л ь *(швыряет в окно пустую бутылку)*. Бей!

П я т и р у б е л ь. Ох, и герой же, сукин сын!

М и т я *(Рубцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Р я б ц о в. Рупь.

М и т я. Получайте рупь.

С л е п ц ы *(поют)*.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособнл,
Ожнл я, волю почуя...

М е н д е л ь. Бей!

П я т и р у б е л ь. Сатана, а не старик!

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обыкновенно гуляет.

— Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обыкновенно гуляет.

— А причнна какая, по какой прнчнне гуляет?

Р я б ц о в. Поди разбери прнчнну. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедностн гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремнт все могущественнее. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

П о т а п о в н а *(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

П я т и р у б е л ь. Швейцару на почте морду бнл. Вот какой старнк! Телеграфные столбы крал н домой на плечах прнносил...

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

М е н д е л ь. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Чисто слон!

— Я видал — и слоны плачут...

— Врешь, слоны не плачут...

— Говорю тебе, слезами плакал...

— В зверинце я слона одного задражнил...

М и т я *(Урусову)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано.

Певцы поют во всю мочь.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты...

Радостными рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

Митя. И все?

Запевала. Хватит.

Мендель *(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

Митя *(Урусову)*. Фомину взойти или рано?

Урусов. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Фомин. С приятным заседанием!

Урусов *(Менделю)*. Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. *(Вытаскивает исписанный лист бумаги.)* Читать, что ли?

Фомин. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение.

Мендель *(во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается)*. Я песни приказывал...

Фомин. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

Урусов *(читает очень картаво)*. «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

Пятирубель. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

Урусов. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

Мендель *(указывает пальцем на Турка, безмятежно курившего кальян в углу)*. Вон человек сидит, обсуждает меня.

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Фомин. Авось не убьет.

Рябцов. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

Потаповна *(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Фомин. Вот, дорогой, тут и распишись.

Потаповна *(хлопает Фомина по груди)*. Здесь у него, у Васьки, деньги, здеся они!

Мендель. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним.)* И что я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и что я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы.

Фомин *(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

Мендель *(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

Митя. Вот те и скука — платить надо.

Мендель. Уйди!

Митя. Врешь, уплатишь!

Мендель. Убью!

Митя. Ответишь.

Мендель. Уйди, я спать буду...

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

Пятирубель. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

Митя *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползает за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Фомин *(Потаповне)*. Суешься поперед батьки... Стучишь языком, как собака бегает... Всю музыку испортила!

Потаповна *(выжимает слезы из грязных мятых морщин)*. Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Фомин. Жалеть умеючи надо.

Потаповна. Жиды, как воши, обсели.

Фомин. Жид умному не помеха.

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Фомин *(громко, медленно)*. А не продаст, так богом

Иисусом Христом, богом нашим, вседержателем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материн, дамские туфли, шелковый зонтик.

Голос соседки. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

Потаповна. Да приду к вам, проведаю...

Голос соседки. А то в одном ряду на птичьей двенадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

Потаповна. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться...

Голос соседки. Видно, что не век.

Потаповна. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Голос соседки. Каково разбегаются-то! Счастье-то каждому подай. Испеки да подай...

Потаповна *(смеется, тучное ее тело сотрясается)*. Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Голос соседки. Девка-то, говорят, худая.

Потаповна. У кости, милая, мясо слаще.

Голос соседки. Сыны, слышь, против вас копают...

Потаповна. Девка сынов перетянет.

Голос соседки. И я говорю — перетянет.

Потаповна. Старик небось девку не бросает.

Голос соседки. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

Потаповна. Разберем. Я разберу... Про полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

Потаповна. Пятьдесят!

Голос соседки. Башмаков пару...

Потаповна. Три!

Голос соседки. Очень смертно любят старики.

Потаповна. Видно, к курям-то мы не присужденные...

Голос соседки. Видно, не присужденные... Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

П о т а п о в н а. Прнду. Проведаю вас... Прощай, мнлая!

Г о л о с с о с е д к н. Прощай, мнлая!

Потаповиа слезает с окиа. Переваливаясь, иапевая, бродит она по комиате, открывает шкаф. Взбирается иа стул, чтобы достать до верхней полки, иа которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комиату входят М е и д е л ь, одетый по-праздиичиому, и М а р у с я.

М а р у с я *(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

П о т а п о в н а *(слезая со стула)*. А чего купнть?

М а р у с я. Қавуны купнте, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... *(Менделю)*. Дай ей рубль.

П о т а п о в н а. Не хватит рубля.

М а р у с я. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

П о т а п о в н а. Не хватит мне рубля.

М а р у с я. Хватит! Прндете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ)*.

Г о л о с П о т а п о в н ы. Я за воротами поснжу, надо будет — поклнчешь.

М а р у с я. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ...)* Пришли на кладбище, глянлм — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могнлка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылкн, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Меидель смотрит иа Марусю с обожанием. Ои дрожит и мычит что-то в ответ, иепоиятио, что мычит.

Батюшка панихнду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпнл, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иваныч, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику н говорю... Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксенин Матвеев-

16*

не, невесте вашей, вннмание не уделяете?.. Сказала, н проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель):* айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго.)* А у Ксеньки-то спнна небось полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустнла *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем):* ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на старнковы деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этнх денег... А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, монх собак... Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

М е н д е л ь. Марусичка!

М а р у с я. Скажн — Маруснчка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, ие то плачет, ие то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

ПЯТАЯ СЦЕНА

Сииагога общества извозопромышлеииников иа Молдаваике. Богослужеиие в пятиицу вечером. Зажжеииые свечи. У амвоиа к а и т о р Ц в и б а к в талесе и сапогах. П р и х о ж а и е — оглушительио беседуют с богом, слоияются по сииагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужалеииые виезапиой пчелой благодати, они издают громовые восклицаиия, подпевают каитору иеистовыми, привычиыми голосами, стихают, долго бормочут себе под иос и потом снова ревут, как разбужеииые волы. В глубиие сииагоги, иад фолиаитом талмуда склоиились два древиих еврея, два костистых горбатых гигаита с желтыми бородами, свороченными иабок. А р ь е-Л е й б, шамес, величественио расхаживает между рядами. На последией скамье т о л с т я к с оттопыреиными пушистыми щеками зажал между колеиями м а л ь ч и к а лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвеииик. На боковой скамье Б е и я К р и к. Позади иего сидит С е и ь к а Т о п у и Они ие подают вида, что зиакомы друг с другом.

К а н т о р *(возглашает)*. Лху нранно ладонай норийо ицур ишенну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоио окут бдойр вооймар... *(Сдавленным голосом.)* Арье-Лейб, крысы!

А р ь е - Л е й б. Ширу ладонаи шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... *(Подходит к молящемуся еврею)*. Как стоит сено?

Е в р е й *(раскачивается)*. Поднялось.

А р ь е - Л е й б. На много?

Е в р е й. Пятьдесят две копейки.

А р ь е - Л е й б. Доживем, будет шестьдесят.

К а н т о р. Лифней адонай ки во мишпойт гоорец... Арье-Лейб, крысы!

А р ь е - Л е й б. Довольно кричать, буян.

К а н т о р *(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

А р ь е - Л е й б *(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как овес?..

В т о р о й е в р е й *(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре...

А р ь е - Л е й б. С ума сойти!

В т о р о й е в р е й *(раскачивается с ожесточением)*. Будет рупь десять, будет рупь десять...

А р ь е - Л е й б. С ума сойти! Лифней адонай — ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Б е н я *(склонился над молитвенником)*. Ну?

С е н ь к а *(за спиной Бени)*. Есть дело.

Б е н я. Мы не сделали дела.

С е н ь к а. Оптовое дело.

Б е н я. Что можно взять?

С е н ь к а. Сукно.

Б е н я. Много сукна?

С е н ь к а. Много.

Б е н я. Какой городовой?

С е н ь к а. Городового не будет.

Б е н я. Ночной сторож?

С е н ь к а. Ночной сторож в доле.

Б е н я. Соседи?

С е н ь к а. Соседи согласны спать.

Б е н я. Что ты хочешь с этого дела?

Сенька. Половину.

Беня. Мы не сделали дела.

Сенька. Докладываешь батькино наследство?

Беня. Докладываю батькино наследство.

Сенька. Что ты дашь?

Беня. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться, Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка!

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!

Кантор *(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк!..

Кантор *(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — нá тебе!

Арье-Лейб *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

Сенька *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

Кантор *(торжественно)*. Мизмойр лдовид!

Все молятся.

Беня. Ну?

Сенька. Есть люди.

Беня. Какие люди?

Сенька. Грузины.

Беня. Имеют оружие?

Сенька. Имеют оружие.

Б е н я. Откуда они взялись?

С е н ь к а. Живут рядом с вашим покупателем.

Б е н я. С каким покупателем?

С е н ь к а. Который ваше дело покупает.

Б е н я. Какое дело?

С е н ь к а. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.

Б е н я *(оборачивается)*. Сказился?

С е н ь к а. Сам говорил.

Б е н я. Кто говорил?

С е н ь к а. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы.

Б е н я. Сказился.

С е н ь к а. Все люди знают.

Б е н я. Божись.

С е н ь к а. Пусть мне счастья не видать!

Б е н я. Матерью божись!

С е н ь к а. Пусть я мать живую не застану!

Б е н я. Еще божись, стерва!

С е н ь к а *(пренебрежительно)*. Дурак ты!

К а н т о р. Борух ато адонай...

ШЕСТАЯ СЦЕНА.

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Б е н я и чистит револьвер. Л е в к а прислонился к двери конюшни. А р ь е-Л е й б объясняет сокровенный смысл «Песни песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Н и к и ф о р без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Б е н я. Время идет. Дай времени дорогу!

Л е в к а. Зарезать ко всем свиньям!

Б е н я. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

А р ь е-Л е й б. «Песня песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?[1]

Н и к и ф о р *(указывает Арье-Лейбу на братьев)*. Вон выставились коло конюшни, как дубы.

А р ь е-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это

[1] Р а ш э — комментатор священного писания и талмуда.

значит и днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор *(мечется по двору)*. Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Беня *(разбирает револьвер, чистит)*. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Никифор *(кричит, но в голосе его нет силы)*. Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Беня. Кричи, кричи перед смертью.

Никифор *(Арье-Лейбу)*. Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб *(поднимает на кучера выцветшие глаза)*. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Беня. Растревожился наш Никифор.

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят Мендель, Бобринец,
Никифор, Пятирубель под хмельком.

Бобринец *(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне прийти?

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавлеику с его побитыми лоханками?..

Мендель *(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Никифор. Выставились, как дубы паршивые.

Бобринец. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньгами, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель!

Пятирубель. Ай, Мендель!

Мендель. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Никифор. Хозяин, за ради бога!..

Мендель. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...

Мендель. Что сыны мои?

Никифор. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Беня *(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

Мендель *(смотрит в землю)*. Люди, хозяева...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Ой, не возьмите!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*

Левка. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью. Старик и Левка откатываются за сарай.

Никифор *(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Бобринец. Левка, отца?!

Беня *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Никифор. Ох, грех...

Пятирубель. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще на земле человек против Менделя.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Я ста рублями отвечу...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Бобринец. Левка, отца?!

Мендель. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

Пятирубель. Ста рублями любому отвечу...

Мендель. Не возьмешь!

Беня. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Никифор. Теперь убили.

Пятирубель *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Левка *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель. Миш?..

Беня *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

Пятирубель. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

Арье-Лейб *(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка *(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель *(отходит, пошатываясь)*. Двое — на одного.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Нехама. Не молчи, Мендель.

Бобринец. *(грустным голосом)*. Довольно строить штуки, старый шутник!

Н е х а м а. Кричи что-нибудь, Мендель!

Б о б р и н е ц. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые иоги, сидит Левка Он не торопясь выплевывает изо рта длииные ленты крови.

Б е н я *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь)*. Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Сняя тьма, но иад тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огнеиными ямами.

СЕДЬМАЯ СЦЕНА

Каретнпк Крнков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожкн, сбруя. Вндна часть двора. В дверях за небольшнм столом пншет Б е н я. На иего иаскакнвает лысый нескладный мужнк С е м е и, тут же шныряет м а д а м П о п я т н н к. Во дворе на телеге с торчащнм дышлом снднт, свеснв иогн, М а й о р. К стене прнставлена новая вывеска. На ней золотымн буквамн: «Извозопромышленное заведенне Мендель Крик н сыновья». Вывеска украшена гнрляндамн подков и скрещенными кнутамн.

С е м е н. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Б е н я *(продолжает писать)*. Грубо говоришь, Семен.

С е м е н. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Б е н я. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

С е м е н. Ты куда старика дел?

Б е н я. Старик больной.

С е м е н. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Б е н я *(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

М а д а м П о п я т н и к *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак, — это очень паскудно.

Б е н я. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

С е м е н *(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

М а д а м П о п я т н и к. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Беия. Никифор!

Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит иехотя.

Никифор. Я — Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семеиа и возьмешь у Грошева.

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Беия. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяиии в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беия. У меия выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сеиа пятьсот пудов...

Семеи (*остолбенел*). Пятьсот?! Двадцать годов возил...

Мадам Попятиик. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сеиа.

Беня. Овса — двести.

Семен. Я возить ие отказываюсь.

Беня. Потеряй мой адрес, Семеи.

Семеи миет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятиик. Одии паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должеи! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Меидель Крик заслужил у нас эти несчастиые два рубля...

Майор (*мелодическим глухим голосом*). Рубль девяиосто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроеиие, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятиик. Вышло рубль девяиосто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Ои смотрит в сторону.

Н н к и ф о р. Потаповиа пришла.

Б е н я. Зачем мне зиать, что кто-то пришел?

Н и к н ф о р. Грознтся.

Б е н я. Зачем мие знать...

Припадая на иогу, вламывается П о т а п о в н а. Старуха пьяна. Оиа устремляет на Беию мутиые иемигающие глаза.

П о т а п о в и а. Цари иашн...

Б е н я. В чем суть, мадам Холодеико?

П о т а п о в н а. Царн иашн...

Н н к н ф о р. Пошла дурнть!

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, жндовскне шарнки жужжат... Прыгают в голове шарнки — д-ж-ж...

Б е и я. В чем суть, мадам Холоденко?

П о т а п о в и а *(бьет по земле кулаком)*. Правильио, правнльио! Нехай умиый панует, а свннья в монопольку...

М а д а м П о п я т н и к. Интеллигеитиая дама!

П о т а п о в и а *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков иа Балтской дороге поджидала... *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Б е н я. В чем суть, мадам Холодеико?

П о т а п о в и а. Д-ж-ж-ж, пустил шарикн...

Б е и я. Ннкифор!

Н н к и ф о р. Ну?

П о т а п о в н а *(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем)*. Девочка-то иаша заиеслась. Ннкиша!

М а д а м П о п я т н н к *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига!

Б е и я. Что вы потеряли здесь, мадам Попятиик, н что вы хотите здесь иайти?

М а д а м П о п я т и и к *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я нду... Дай бог свндеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую мииуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза у нее стали косые и светят вбок черным огнем)*.

Майор тащится за жеиой н шевелит пальцами. Наконец оии исчезают.

П о т а п о в н а *(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ңочью я к ией подобралась, грудь

троиула, а у ией уже иалилось, в руке ие помещается.

Б е и я *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

П о т а п о в и а *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Б е и я. Врешь!

П о т а п о в и а. Ну, третий.

Б е и я. Чего тебе от иас иадо?

П о т а п о в и а. Д-ж-ж, пустил шарики...

Б е и я. Чего тебе иадо?

П о т а п о в и а *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Б е и я. Двадцать пять!

П о т а п о в и а. Портовых иаведу.

Б е и я. Портовых иаведешь?.. Никифор!

Н и к и ф о р. Я — Никифор.

Б е и я. Взойди к папаше и спроси его, приказывает ои давать двадцать пять...

П о т а п о в и а. Сто!

Б е и я. ... двадцать пять рублей иа вычистку или ие приказывает?

Н и к и ф о р. Не взойду я.

Б е и я. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Н и к и ф о р *(хватает Беню за руку)*. Пареиь, я бога ие боюсь... Я бога видел и ие испугался... Я убью и ие испугаюсь...

Заиавеска трепещет и раздвигается. Выходит М е и д е л ь. За спииу у иего закииуты сапоги. Лицо его сиие и одутловато, как лицо мертвеца.

М е и д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в и а *(лезет по полу)*. Ай, страшио!

Н и к и ф о р. Хозяии!

К каретиику приближается А р ь е-Л е й б и Л е в к а.

М е и д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в и а *(лезет по полу)*. Ай, страшио!

Б е и я. Взойдите в помещеиие к вашей супруге, папаша.

М е и д е л ь. Ты отопрешь мие ворота, Никифор, сердце мое...

Н и к и ф о р *(падает на колени)*. Великодушио

прошу вас, хозяин, не срамитесь передо мной, простым человеком!

М е н д е л ь. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша!

(Он приближается к отцу)

М е н д е л ь. Не бей меня, Бенчик.

Л е в к а. Не бей его.

Б е н я. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как вы могли... *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

А р ь е-Л е й б. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Б е н я. Звери, о звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

А р ь е-Л е й б *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

П о т а п о в н а *(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

А р ь е-Л е й б *(укладывает Менделя на лежанке за занавеской)*. Мы заснем, Мендель...

П о т а п о в н а *(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика)*. Сыночек мой, любочка моя.

А р ь е-Л е й б *(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека)*. В старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войсками Израиля и над мудрецами его...

П о т а п о в н а *(всхлипывает)*. Сыночек мой!

А р ь е-Л е й б. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах

Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, с женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

ВОСЬМАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка (*орет кавалерийские сигналы*).

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша (*хохочет*). Ой, живот. Ой, выкину!..
Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!
Клаша. Ой, уморил!..

Проходит. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мам зель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.

Двойра. Почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходит. Появляются Беня и Бобринец.

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня.

Беня. Моя мысль: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь, голый и босой и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторги, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Боярский и Двойра

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены под голубой лампой, сидит степенный прасол и парень в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек и слетел.

Прасол. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то... *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как поживется. За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать-то?

Парень с толстыми ногами. Венчик сена одного тыщу пудов купил.

Прасол. Старик по сто покупал — хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут.

Прасол. Это жиды-то, это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком.

Проходят Беня и Бобринец.

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я

хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Бобринец. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнеры.

Пятирубель *(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрезал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(Робко). Они гудосые?

Мадам Вайнер (*злобно*). Ну да!

Проходят Двойра и Боярский

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом я хочу ребенка, Боярский.

Боярский. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.

Мадам Попятник. Бен Зхарья приехал! Раввин... Бен Зхарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

Парень с толстыми ногами. На деньги и равви прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарьи.

Бен Зхарья *(визгливо)*. Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Бобринец *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Б е н З х а р ь я. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Б о б р и н е ц. Почему на спине, рабби?

Б е н З х а р ь я. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобриец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Б е н я. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Б е н З х а р ь я. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Б е н я. И лошадей моих отдам.

Б е н З х а р ь я. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в колесницу и отвезите меня... куда?

Б о б р и н е ц. Куда, рабби?

Б е н З х а р ь я. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Б о б р и н е ц *(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезшую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

А р ь е-Л е й б *(представляет Б е н ю)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Б е н ц и о н.

Б е н З х а р ь я *(жует губами)*. Бенцион... сын Сиона... *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Л е в к а *(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

К л а ш а *(качает головой, улыбается)*. Ох, здоровый!

Б е н я *(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Б е н З х а р ь я *(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнание? Пусть государственный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной.

Б о б р и н е ц *(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Б е н З х а р ь я. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое положишь, — она всеми кишками заскрипит, что-

17*

бы вымеиять поломаииую твою копейку иа иовый золотой... Оиа лучше баика, оиа лучше баика...

Б о б р и и е ц (*поднял кверху палец*). Надо поиимать, что ои говорит.

Б е и З х а р ь я. А где же звезда иаша во Израиле, где хозяии дома сего, где рабби Меидель Крик?

Л е в к а. Ои сегодия больиой.

Б е и я. Рабби, ои здоров... Никифор!

В дверях показывается Н н к н ф о р в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчанне.

Н и к и ф о р (*отчаянным голосом*). Уважающие гости!..

Б е и я (*медленно*). Пусть взойдет папаша.

А р е-Л е й б. Беичик у иас, евреев, отца ие срамят перед людьми.

Л е в к а. Рабби, человек так ие мучает кабаичика, как ои мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгая слюной.

Б е и я (*склоняется к мадам Вайнер*). Что ои говорит?

М а д а м В а й и е р. Ои говорит — стыд и срам!

А р ь е-Л е й б. Евреи так ие делают, Беия!

К л а ш а. Расти сыиов...

Б е и я. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в сииагоге биидюжииков и кладбищеиский каитор, ие расскажешь ли ты мие, как делаются дела у людей?.. (*Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой.*) Пусть взойдет папаша!

Ннкнфор нсчез. Склоннв голову, расставив ногн, стоит Беня посреднн комнаты. Медленная кровь залнвает его лнцо. Молчанне. И только бессмысленное бормотанне Бен Зхарьн нарушает томнтельную тишнну.

Б е и З х а р ь я. Бог умывается иа иебе красиой водой. (*Молчит, ерзает в кресле.*) Почему красиой, почему ие белой? Потом что красиая веселее белой...

Половннкн боковой дверн скрнпят, стонут н расходятся. Все лнца оборачнваются в ту сторону. Показывается М е н д е л ь с нссеченным н запудренным лнцом. Он в новом костюме. С ннм Н е х а м а в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Беня. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах...

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — ура!

Беня *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!.. *(Подносит отцу и матери вино.)* Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово нашим гостям.

Мендель *(озирается и говорит тихо)*. Желаю доброго здоровья...

Беня. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов...

Беня. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Захарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Бобринец *(заливается хохотом)*. Ай хулиган!.. Ай умница!..

Мадам Попятник. Я даю туш.

Беня. Давайте.

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствий, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка *(через весь стол)*. Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

П р а с о л. Толкуют мие про жидов. Я жидов получше вашего зиаю...

П я т и р у б е л ь *(лезет к Бене и порывается целовать его:)* Ты иас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдаиие раздается за спииой Бени. Слезы текут по лнцу Арье-Лейба.

А р ь е-Л е й б. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... У тебя был хороший отец, Беня!

В а й н е р *(обрел дар речи)*. Выведите его!

М а д а м   В а й н е р. Боже, какие штуки!

Б о я р с к и й. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь иадо смеяться.

В а й н е р. Выведите его!

А р ь е-Л е й б *(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беия...

Мендель бледнеет под своей пудрой, он протягнвает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытнрает слезы. Плачет и смеется.

Б о б р и н е ц. Болваи, вы не у себя на кладбище!

П я т и р у б е л ь. Все насквозь пройдете, такого Бенчика ие сыщете. Я об заклад буду биться...

Б е н я. Дорогие, присаживайтесь!

Л е в к а. Жмите скамейки...

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Б е н   З х а р ь я. Евреи!

Б о б р и н е ц. Тихо чтоб было!

Б е и З х а р ь я. Старый дуралей Беи Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беия встряхивает его н он замолкает.

Деиь есть деиь, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет иас потм трудов иаших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навии, остаиовивший солнце, был злой безумец. И вот Меидель Крик, прихожании иашей сииагоги, оказался ие умиее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел ои жариться на солицепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сыновей в своем доме. Городовые приходят

и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Л е в к а. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

З а н а в е с

МАРИЯ

Пьеса в 8 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муковнин Николай Васильевич.
Людмила — его дочь.
Фельзен Екатерина Вячеславовна.
Дымшиц Исаак Маркович.
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь.
Нефедовна — нянька в доме Муковнина.
Евстигнеич, Бишонков, Филипп — инвалиды
Висковский — бывший ротмистр гвардии.
Кравченко.
Мадам Дора.
Надзиратель — в милиции.
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86.
Агаша — дворничиха.
Андрей, Кузьма — полотеры
Сушкин.
Сафонов — рабочий.
Елена — его жена.
Нюшка.
Милиционер.
Пьяный — в милиции.
Красноармеец — с фронта.

Действие происходит в Петрограде,
в первые годы революции.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида, Бишонков и Евстигнеич, раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова зашпилен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты.
Дымшиц бросает на счетах.

Евстигнеич. Дорогу всю расшлепали... Зандберг был на Вырице, людям жить давал, — убрали.

Бишонков. Слишком тиранят, Исаак Маркович.

Дымшиц. А Королев есть?

Евстигнеич. Зачем «есть», — коцнули. Дорогу как есть расшлепали, все заградиловки новые.

Б и ш о н к о в. Слишком стало затрудительно с продуктовым делом, Исаак Маркович. К одной заградиловке привыкнешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Е в с т и г н е н ч. Ума не дашь... Каждый день изобретение делают... Подъезжаем нонче к Царскосельскому — стрельба. Что такое?.. Думаем — власть отошла, а они это моду такую взяли — допрежде всякого разбору бахать.

Б и ш о н к о в. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Деткам, говорят, пойдет... В Царском Селе в настоящее время одни дети, — колония считается..

Е в с т и г н е н ч. Деткам, да с бородой.

Б и ш о н к о в. А если я голодный, неужели ж я себе не возьму? Обязательно я себе возьму, если я голодный.

Д ы м ш и ц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... Зачем вы человека бросили?

Б и ш о н к о в. Мы его, Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Е в с т и г н е н ч. Водит его кто-нибудь...

Б и ш о н к о в. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Е в с т и г н е н ч. Того же Филиппа взять: мужчина рослый, заметный, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, падает... Я ему говорю: «Филипп, говорю, мы форткой на Загородный пройдем, там вся цепочка своя». А уж он не тот, потерялся. «Я, говорит, опасываюсь идти». — «Ну, говорю, опасываешься — сиди... Спиртонос — божий человек, только в морду дадут, чего тебе бояться? На тебе один пояс с вином...» А его уж к полу привалило. Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та.

Б и ш о н к о в. Мы так надеемся, Исаак Маркович, — отыщется. За ним следу большого нет.

Д ы м ш и ц. Почем колбасу брали?

Б и ш о н к о в. Колбасу, Исаак Маркович, по восемнадцать тысяч брали, да и похужело. В настоящее время, что Витебск, что Петроград — один завод.

Е в с т и г н е и ч *(открывает в стенке потайное место, переносит туда продукты)*. Подравняли Расею.

Д ы м ш и ц. Крупа почем?

Б и ш о н к о в. Крупа, Исаак Маркович, девять тысяч,

а слово напротив скажешь — ие берн. Торговлей никак не интересуются. Он того только н ждет, чтобы тебе не понравнлось. Такой кураж у этих купцов пошел — ие передать!

Е в с т и г н е н ч *(прячет в стену хлебы)*. Супругн сами хлебы пекли, свон труды клали... Кланяться велели.

Д ы м ш и ц. Дети как — жнвы, здоровы?

Б и ш о н к о в. Дети живы, здоровы, очеиь благополучны. Одеваиы в шубки, богатые детки... Супруга приехать просят.

Д ы м ш и ц. Больше делать иечего... *(Бросает на счетах)*. Бншонков!

Б и ш о и к о в. Я.

Д ы м ш и ц. Не внжу пользы, Бишоиков.

Б и ш о н к о в. Слишком затрудиительио стало, Исаак Маркович.

Д ы м ш и ц. Расчету не вижу, Бишоиков.

Б н ш о и к о в. Расчету, Исаак Маркович, никак ие вндать... У иас с Евстнгиеичем такая думка, что надо иа другой товар перекидаться. Продукт — он вещество громоздкое: мука — она громоздкая, крупа — громоздкая, ножка телячья — тоже громоздкая. Надо, Исаак Маркович, иа другое перекидаться — иа сахарин илн, там, на камешкн... Бриллиаит — это прелестное вещество: за щеку положил — и нету.

Д ы м ш и ц. Филнппа иет... Я об Фнлнппе думаю.

Е в с т и г н е н ч. Пожалуй, покалечили.

Б н ш о и к о в. И то сказать, — инвалнд по восемиадцатом году фирма была, а в настоящий момеит...

Е в с т и г и е и ч. Куда тебе, — образовались! Райьше у иарода перед инвалидами совести ие хватало, а теперь — иоль вниманпя. «Ты зачем ивалид?» — спрашнвают. «У меия, говорю, бризантиый снаряд обе иоги отобрал». — «А в этом, говорят, ннчего такого особеииого иет, у тебя, говорят, без страдаиия оторвало, сразу... Ты, говорят, страдаиня ие принимал». — «Как это, говорю, страдаиия не приинмал?» — «А так, говорят, известиая вещь: тебе ногн под хлороформом подравияли, ты иечего и не слыхал. У тебя только с пальцами иедоразумеине, пальцы у тебя вроде стремят, чешутся, хотя онн и отобраиы, н больше ннчего такого с тобой иет». — «Как ты, говорю, можешь это зиать?» — «А так, говорит, — народ, слава те, филькниой сvчке, образовался». —

«Видно, образовался, если инвалида с поезда скидает... Зачем ты, говорю, меня на путь скидаешь? — я калека...» — «А потому и скидаем, что нам в Расее, говорит, на калек глядеть обрыдло», — и скидает, как поленницу... Я, Исаак Маркович, очень на наш народ обижаюсь.

Входит В и с к о в с к и й — в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.

Д ы м ш и ц. Это вы?

В и с к о в с к и й. Это я.

Д ы м ш и ц. А где здравствуйте?

В и с к о в с к и й. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?

В и с к о в с к и й. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла...

Д ы м ш и ц. Передали мне люди, не обезьяны.

В и с к о в с к и й. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Люди дали, чтобы продать.

В и с к о в с к и й. Продайте мне.

Д ы м ш и ц. Почему вам?

В и с к о в с к и й. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Я всегда джентльмен.

В и с к о в с к и й. Джентльмены не задают вопросов.

Д ы м ш и ц. Люди хотят валюту за кольцо.

В и с к о в с к и й. Вы должны мне пятьдесят фунтов.

Д ы м ш и ц. За какие такие дела?

В и с к о в с к и й. За дело с нитками.

Д ы м ш и ц. Которые вы просыпали...

В и с к о в с к и й. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.

Д ы м ш и ц. Вы просыпали потому, что вы горячий.

В и с к о в с к и й. Дайте срок, маэстро, я научусь.

Д ы м ш и ц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое... На войне вы там ротмистр или граф,— я не знаю, кто вы там,— может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.

Висковскнй. Слушаю-с.

Дымшиц. Я сердчаю на вас, Висковскнй, я еще за другое иа вас серчаю. Что это был за номер с княжиой?

Внсковский. Задумаио, как побогаче.

Дымшиц. Вы зиали, что она девушка?

Висковский. Самый цимис...

Дымшиц. Так вот, этого цимнса мие ие иадо. Я маленький человек, господии ротмистр, и ие хочу, чтобы эта кияжиа прнходила ко мие, как божья матерь с картиньı, н смотрела иа меня глазами, как серебряные ложкн... О чем шел разговор? — спрашиваю я вас. Пусть это будет женщниа под тридцать, мы говорнлн, под тридцать пять, домашияя женщина, которая зиает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеиый хлеб и четыреста граммов какао для детей — и ие сказала бы мне потом: «Паршнвый мешочник, ты меня запачкал, ты миою воспользовался».

Внсковскнй. Про запас остается младшая Муковиниа.

Дымшнц. Оиа врунья. Я ие люблю жеищиину, когда оиа вруиья... Почему вы меня со старшей не познакомили?

Внсковскнй. Мария Ннколаевна уехала в армню.

Дымшнц. Вот это был человек — Мария Николаевиа, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорнть... Вы дождалнсь того, что оиа уехала.

Висковскнй. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложио.

Евстигиенч. «Тебя, говорнт, без страху убило, ты, говорнт, отмучился», — вон ведь как он меня обеспечнл...

Отдаленный выстрел, потом ближе; выстрелы учащаются. Дымшнц гаснт свет, запирает дверн на ключ. Свет нз окна, зеленые стекла, мороз.

(шепотом). Житуха...

Бншонков. Окаяиство!

Евстнгнеич. Все матросия орудует...

Бишоиков. Никак жнзнн нет, Исаак Маркович!

Стук в дверь. Молчаиие. Внсковский выиимает револьвер из карманиа, открывает предохраиитель. Сиова стук.

Кто там?

Филипп *(за дверью)*. Я.

Евстигнеич. Голос дай... Кто это я?

Филипп. Откройте.

Дымщиц. Это Филипп.

Бншоиков открывает дверь. В комиату проинкает бесформеииое огромное существо. Вошедший прнвалнвается к стене, молчнт. Вспыхивает свет. Половина Филнппова лнца заросла диким мясом. Голова его упала на грудь, глаза закрыты.

В тебя стреляли?

Филипп. Не.

Евстигиеич. Наморился, Филипп?

Евстнгиеич с Бншонковым снимают с Фнлиппа тулуп, верхнюю одежду, вытаскнвают из-под нее резниовый костюм, бросают его иа пол. Безрукий резиновый человек — второй Фнлипп — распростерт иа полу. Пальцы Фнлиппа изрезаны, кровоточат.

Оборудовали как следует быть... Человеки зовемся...

Филипп *(голова его все свалена на грудь)*. По следу... по следу шел...

Евстигнеич. Ои шел?

Филипп. Ои.

Евстигиеич. В крагах?

Филипп. Ои.

Евстигиеич. Таперича взялись...

Дымшиц. До дому довел?

Филипп *(с трудом выговаривая слова)*. До дому не довел... Стрельба перехватила, на стрельбу пошел...

Бишонков с Евстнгнеичем подхватывают раненого, укладывают его.

Евстигнеич. Я тебе сказывал — воротами пройдем...

Филипп стонет, охает. Вдалеке выстрелы, пулеметиая очередь, потом тншииа.

Житуха...

Бишонков. Окаяиство!..

Висковский. Где кольцо, маэстро?

Дымшиц. Приспичило с кольцом, горит под вами...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в доме Муковнина, служащая одновременно спальней, столовой, кабинетом,— комната 20-го года. Стильная старинная мебель; тут же «буржуйка», трубы протянуты через всю комнату; под печкой сложены мелко наколотые дрова. За ширмой одевается, перед тем как ехать в театр, Л ю д м и л а Н и к о л а е в н а. На лампе греются щипцы для завивки волос. К а т е р и н а В я ч е с л а в о в н а гладит платье.

Л ю д м и л а. Сударыня, ты отстала... В Мариинке теперь очень нарядная публика. Сестры Крымовы, Варя Мейендорф — все одеваются по журналу и живут превосходно, уверяю тебя.

К а т я. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.

Л ю д м и л а . Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус, они хотят, чтобы женщина была изящна. Ты думаешь, твоему Редько нравится, когда ты ходишь замарашкой? Ничуть не нравится... Господа пролетарии входят во вкус, Катюша.

К а т я. На твоем месте я бы ресниц не делала, и это платье без рукавов...

Л ю д м и л а. Сударыня, вы забываете — я с кавалером.

К а т я. Кавалер, пожалуй, не разберет.

Л ю д м и л а. Не скажи. У него свой вкус, темперамент...

К а т я. Рыжие горячи — это известно.

Л ю д м и л а. Какой же он рыжий, мой Дымшиц?— он шоколадный.

К а т я. И правда — у него так много денег?... Висковский, по-моему, бредит.

Л ю д м и л а. У Дымшица шесть тысяч фунтов стерлингов.

К а т я. Все на калеках нажил?

Л ю д м и л а. Ничего не на калеках... Вольно же было другим додуматься. У них артель, складчина. Инвалидов до сих пор не обыскивали, легче было провезти.

К а т я. Нужно быть евреем, чтобы додуматься...

Л ю д м и л а. Ах, Катюша, лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины... Один, смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в извозчики пошел, стоит у «Европейской» седоков поджидает... Par le temps qui court[1] евреи вернее всего.

К а т я. Да уж вернее Дымшица не найти.

[1] В наше время (*франц.*).

Л ю д м и л а. И потом, мы бабы... Katy, мы простые бабы, вот как дворникова Агаша говорит «трепаться надоело». Мы не умеем быть неприкаянными, правда же, не умеем...

К а т я. И детей родишь?

Л ю д м и л а. Рожу двух рыженьких.

К а т я. Значит — законный брак?

Л ю д м и л а. С евреями иначе нельзя, Катюша. Они страшно семейственные, жена у них советчица, над детьми они трясутся... И потом — еврей всегда благодарен женщине, которая ему принадлежала. Поэтому эта благородная черта — уважение к женщине.

К а т я. Да ты откуда евреев так знаешь?

Л ю д м и ла. Ну вот — «откуда». Папа в Вильне корпусом командовал, там все евреи... У папы приятель раввин был... Они все философы — их раввины.

К а т я *(подает через ширму разглаженное платье)*. После театра — ужин?

Л ю д м и л а. Не исключено.

К а т я. Конечно, вы выпьете, Людмила Николаевна, порыв страсти, все потонуло в тумане...

Л ю д м и л а. Пальцем в небо, сударыня!.. Манеж будет продолжаться месяц, два месяца,— с евреями так надо. Еще даже не решено, будут ли поцелуи...

Входит г е н е р а л *в валенках; шинель на красной подкладке переделана в халат; две пары очков.*

М у к о в н и н *(читает)*. «...Октября шестнадцатого дня тысяча восемьсот двадцатого года, в царствование благословенного императора Александра, рота лейб-гвардии Семеновского полка, забыв долг присяги и воинского повиновения начальству, дерзнула самовольно собраться в позднее вечернее время...» *(Подымает голову.)* В чем же оно выразилось — забвение присяги? Выразилось оно в том, то люди вышли в коридор после переклички и решили просить у командира роты отмены очередного смотра по десяткам на дому... у командира полка бывали и такие смотры. За это, за так называемый бунт, было определено наказание... какоез *(Читает.)* «...Нижних чинов, признанных зачинщиками, лишить живота, людей первой и второй рот, подавших пример бес-

порядка, наказать виселицей, рядовых, помянутых в параграфе третьем, в пример другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз...»

Л ю д м и л а. Разве это не ужасно?

К а т я. Кто же спорит, что прежде было много жестокого?

Л ю д м и л а. По-моему, большевики должны ухватиться за папину книгу. Им же выгодно, чтобы бранили старую армию.

К а т я. Они все требуют к текущему моменту.

М у к о в н и н. Я разбиваю семеновскую трагедию на две главы. Первая — исследование причин мятежа, вторая — описание бунта, истязаний, отсылки в рудники... История моя будет история казармы,— не перечень народов, а судьба всех этих Сидоровых и Прошек, отданных Аракчееву, сосланных на двадцатилетнюю военную каторгу.

Л ю д м и л а. Папа, ты должен прочитать Кате главу об императоре Павле. Если бы жил Толстой, он оценил бы, я уверена.

К а т я. В газетах все требуют к настоящему моменту.

М у к о в н и н. Без познания прошлого — нет пути к будущему. Большевики исполняют работу Ивана Калиты — собирают русскую землю. Мы, кадровые офицеры, нужны им хотя бы для того, чтобы рассказать о наших ошибках...

Звонок. Возня в прихожей. Входит Д ы м ш и ц с пакетами, в шубе.

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Николай Васильевич! Здравия желаю, Катерина Вячеславна! Людмила Николаевна в доме?

К а т я. Ждет вас.

Л ю д м и л а *(из-за ширмы)*. Я одеваюсь...

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Людмила Николаевна! На улице такая погода, что хороший хозяин собаку не выпустит... Меня привез Ипполит, наговорил полную голову, все шиворот-навыворот,— такого типа поискать надо... Мы не опоздаем, Людмила Николаевна?

М у к о в н и н. На улице белый день, а они в театр.

К а т я. Николай Васильевич, театры теперь начинают в пять часов дня.

Муковнин. Электричество экономят?

Катя. Во-первых, электричество. Потом, если поздно возвращаться,— разденут.

Дымшиц *(раскладывая пакеты)*. Маленький окорочок, Николай Васильевич. Я в этом не специалист, но мне его продали, как хлебный... Хлебом его кормили или чем другим — при этом мы не были...

Катя отошла в угол, курит.

Муковнин. Право, Исаак Маркович, вы слишком добры к нам.

Дымшиц. Немножко шкварок...

Муковнин *(не понял)*. Виноват!

Дымшиц. У вашего папы вы этого не кушали, но в Минске, в Вилюйске, в Чернобыле их уважают. Это кусочки от гусятины. Вы отведаете и скажете мне ваше мнение... Как поживает книжка, Николай Васильевич?

Муковнин. Книжка подвигается. Я подошел к царствованию Александра Павловича.

Людмила. Читается, как роман, Исаак Маркович. Я считаю, что это напоминает «Войну и мир»,— там, где Толстой о солдатах говорит...

Дымшиц. Очень приятно слушать... На улице пусть стреляют, Николай Васильевич, на улице пусть бьются головой об стенку — вы должны делать свое. Кончите книжку — магарыч мой, и на первые сто экземпляров — я покупатель... Кусочек сальтисона, Николай Васильевич: сальтисон домашний, от одного немца...

Муковнин. Исаак Маркович, право, я рассержусь...

Дымшиц. Это для меня честь, чтобы генерал Муковнин на меня сердился... Сальтисон дивный! Этот немец был довольно видный профессор, теперь занимается колбасами... Людмила Николаевна, я сильно подозреваю, что мы опоздаем.

Людмила *(из-за ширмы)*. Я готова.

Муковнин. Сколько я вам должен, Исаак Маркович?

Дымшиц. Вы мне должны подкову от лошади, которая издохла сегодня на Невском проспекте.

Муковнин. Нет, серьезно...

Дымшиц. Хотите серьезно — две подковы от двух лошадей.

Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.

Муковнин. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?

Дымшиц. Не скажу — нет.

Катя. Вот это она и есть, Исаак Маркович,— русская красота.

Дымшиц. Не специалист в этом, но вижу, что хорошо.

Муковнин. Я вас еще со старшей моей познакомлю — с Машей.

Людмила. Предупреждаю: Мария Николаевна у нас любимица,— и вот, пожалуйте, любимица в солдаты ушла.

Муковнин. Какие же это солдаты, Люка?.. В политотдел.

Дымшиц. Ваше превосходительство, про политотдел спросите меня. Это те же солдаты.

Катя *(отводит Людмилу в сторону)*. Право, серег не надо.

Людмила. Ты думаешь?

Катя. Конечно, не надо. И потом — этот ужин...

Людмила. Сударыня, спите спокойно. Ученого учить... *(Целует Катю.)* Катюша, ты глупая, милая... *(Дымшицу.)* Мои ботики... *(Отвернувшись, снимает серьги.)*

Дымшиц *(кидается)*. Момент!

Одевание: ботики, шуба, оренбургский платок. Дымшиц услуживает, мечется.

Людмила. Надеваю и сама удивляюсь — еще не продано... Папа, изволь без меня принять лекарство. И не давай ему работать, Катя.

Муковнин. Мы домовничать будем с Катей.

Людмила *(целует отца в лоб)*. Вам нравится мой папка, Исаак Маркович? Правда, он у нас не такой, как у всех...

Дымшиц. Николай Васильевич роскошь, а не человек!

Людмила. Его никто не знает — одни мы... Где вы оставили князя Ипполита?

Дымшиц. Оставил у ворот. Приказ — ждать,

дисциплииа. Момент — и будем там... Всего хорошего, Николай Васильевич!

К а т я. Очеиь не кутите.

Д ы м ш и ц. Очень не будем, теперь это обеспечено.

Л ю д м и л а. Папочка, до свидаиия!

Муковнии провожает дочь и Дымшнца в переднюю. Голоса и смех за дверью. Г е н е р а л возвращается.

М у к о в н и н. Очень милый и достойный еврей.

К а т я *(забилась в угол дивана, курит)*. Мне кажется — им всем ие хватает такта.

М у к о в и и н. Катя, голубчик, откуда взяться такту?.. Людям позволяли жить на одной сторопе улицы и городовыми гнали с другой. Так было в Киеве, иа Бибиковском бульваре. Откуда такту взяться? Тут другому иадо удивляться — энергии, жизнениой силе, сопротивляемости...

К а т я. Эиергия эта вошла теперь в русскую жизнь, но мы ведь другие, все это чуждо иам.

М у к о в н и и. Фатализм — вот это нам не чуждо, Распутин и иемка Алиса, погубившая дииастию,— это нам ие чуждо. Ничего, кроме пользы, от чудесного этого иарода, давшего Гейне, Спииозу, Христа...

К а т я. Вы и японцев хвалили, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Что ж японцы... Японцы — великий иарод, у них учиться и учиться.

К а т я. Вот и видио, что Марье Николаевне есть в кого пойти... Вы большевик, Николай Васильевич.

М у к о в н и и. Я русский офицер, Катя, и спрашиваю: как это так, господа, с каких пор, спрашиваю я, правила воеиной игры стали чуждыми для вас?.. Мы мучили и уиижали этих людей, они защищались, они перешли в иаступление и дерутся с находчивостью, с обдуманностью, с отчаянием, скажу я,— дерутся во имя идеала, Катя.

К а т я. Идеал?.. Не знаю. Мы несчастиы и счастливы ие будем. Нами пожертвовали, Николай Васильевич.

М у к о в и и н. Пусть растрясут Ванюху и Петруху, превосходно будет. И времеии больше нет, Катя... Единственный русский император, Петр, сказал: «Промедление времени смерти подобио». Вот заповедь! И если это так, то должно же у вас, господа офицеры, хватить мужества посмотреть на карту, узиать, с какого фланга вы обойдены, где и почему иаиесено

вам поражение... Держать глаза открытыми — мое правило, и я не отказываюсь от него.

К а т я. Николай Васильевич, вам надо лекарство принять.

М у к о в н и н. Соратникам моим, людям, с которыми я дрался бок о бок, я говорю: господа, tirez vos conclusions[1], промедление времени — смерти подобно. *(Уходит.)*

За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха. Катя слушает, потом встает, подходит к телефону.

К а т я. Дайте штаб округа... Дайте Редько... Это ты, Редько?.. Я хотела сказать... Надо думать, кроме тебя еще есть люди, которые делают революцию, но вот ты один никак не найдешь времени, чтобы повидаться с человеком... С человеком, у которого ты ночуешь, когда тебе это надо...

Пауза.

Редько, прокати меня. Приезжай за мной на машине... Ну, да, если ты занят... Нет, я не сержусь. За что же сердиться?.. *(Вешает трубку.)*

Музыка прекращается. Входит Г о л и ц ы н, длинный человек в солдатской куртке и обмотках, с виолончелью в руках.

К а т я. Князь, как это вам сказали в трактире — «не играй плачевное»?

Г о л и ц ы н. «Не играй плачевное, не тяни жилы».

К а т я. Им веселое нужно, Сергей Илларионович. Люди забыться хотят, отдыха...

Г о л и ц ы н. Не все. Другие требуют чувствительного.

К а т я *(садится за рояль)*. Ваша публика — кто она?

Г о л и ц ы н. Грузчики с Обводного.

К а т я. Пожалуй, в профсоюз пройдете... Вы и ужин там получаете?

Г о л и ц ы н. Получаю.

К а т я *(играет «Яблочко», поет вполголоса)*.

Пароход идет, вода кольцами.
Будем рыбу мы кормить добровольцами.

Подбирайте за мной. Вы им лучше «Яблочко» в трактире сыграйте.

[1]Делайте выводы *(франц.)*.

Голицын подбирает, фальшивит, потом поправляется.

Сергей Илларноновнч, стонт мне заняться стенографней?

Г о л н ц ы н. Стенографней? Не знаю.

К а т я.

> Я на бочке сндю, слезы капают,
> Ннкто замуж не берет, только лапают...

В стенографнстках нужда теперь.

Г о л н ц ы н. Не умею вам сказать. *(Подбирает «Яблочко».)*

К а т я. Из всех нас настоящая женщнна — Маша. У нее снла, смелость, она женщнна. Мы вздыхаем здесь, а она счастлнва в своем полнтотделе... Кроме счастья — какой другой закон выдумалн людн?.. Его, верно, н нет, другого закона.

Г о л н ц ы н. Марня Николаевна руль всегда поворачнвала круто. Этнм она н отлнчается.

К а т я. Она права...

> Ах, ты, яблочко, куда котишься...

И потом, у нее роман с этнм Акнм Иванычем...

Г о л н ц ы н *(перестает играть)*. Кто это Акнм Иваныч?

К а т я. Их командир днвнзин, бывшнй кузнец... Она о нем в каждом пнсьме упомннает.

Г о л н ц ы н. Почему же роман?

К а т я. Там между строк есть, я знаю... Илн уехать мне в Борнсоглебск, к родным? Все-такн гнездо... Вот вы в лавру к монаху этому ходнте... как зовут его?

Г о л н ц ы н. Сноннй?

К а т я. К Снонню. Чему он учнт вас?

Г о л н ц ы н. Вы говорнлн о счастье... Он учнт меня вндеть его не в чувстве властн над людьмн н не в этой беспрестанной жадностн — жадностн, которую мы утолнть не можем.

К а т я. Давайте, Сергей Илларноновнч.

> Я на бочке сндю, бочка котнтся,
> Хоть в кармане нн гроша,
> Выпнть хочется...

Сноннй — краснвое нмя.

КАРТИИА ТРЕТЬЯ

Л ю д м и л а и Д ы м ш и ц в его номере. На столе остатки ужииа, бутылки. Видиа часть соседией комиаты. Б и ш о и к о в, Ф и л и п п и Е в с т и г и е и ч играют там в карты. Евстигиеича с отрублеииыми иогамн поставили иа стул.

Л ю д м н л а. Феликс Юсупов был бог по красоте, теннисист, чемпион Росснн. Его красоте иедоставало мужественности, в ием была кукольиость... С Владимнром Баглеем мы встретились у Фелнкса. Император так до конца н ие понял рыцарскую иатуру этого человека. Его называлн у нас «тевтонскнй рыцарь»... Фредернкс был дружеи с киязем Сергеем... Вы зиаете князя Сергея, который нграет на в
нолончелн? ...На вечере был еще иомер hors programme[1], архнепнскоп Амвросий. Старнк ухаживал за мною, — можете себе представить! — подливал крюшону н делал такую постную, лукавую мину. Вначале я не произвела на Владнмира впечатлеиия, он признался мие в этом: «Вы былн курносая, si demesurement russe[2], с пылающим румянцем...» На рассвете мы поехали в Царское, оставили машниу в парке и взялн лошадь. Он сам правнл. «Людмнла Ннколаевна, нужио ли вам сказать, что я весь вечер не сводил с вас глаз?..» — «Это учтеио Ннной Бутурлииой, mon prince». Я знала, что у иих роман, вериее — флирт. «Бутурлина — c'est le pass'e, Людмнла Ннколаевиа...» — «On revient toujours, ses premiers amous, mon prince»[3], Владнмнр не носил великокняжеского титула, ои был от моргаиотического брака, их семья не встречалась с императрицей... Владнмнр иазывал эту женщнну геиием зла. И потом — ои был поэт, мальчнк, иичего ие поннмал в политике... Мы приехали в Царское. Рассвет. Над прудом где-то, совсем понизу, запел соловей... Мой спутннк повторяет: «Mademoiselle Boutoirline c'est le passe»[4]. — «Mon prince, прошлое возвращается иногда, н возвращеиия этн ужасны...»

Дымшиц гасит свет, накидывается иа Муковиииу, валит ее иа диваи. борьба. Она вырывается, поправляет волосы, платье.

[1] Сверх программы *(франц.)*

[2] Такая бескоиечио русская *(франц.)*.

[3] «Первые увлечеиия обычио возвращаются, киязь» *(франц.)*.

[4] «Мадемуазель Бутурлииа — это прошлое» *(франц.)*.

Бишонков (*подкидывает карту*). Подсекай...

Филипп. Подсечешь у тебя, как же!

Евстигнеич. Ну, повели к забору, руки связаны... «Ну, говорят, поворачивайся, друг». А он: «Не надо поворачиваться, я военный человек, копайте так...» А заборы у них вроде плетня, полроста человеческого... Ночь, конец села, за селом степь, на краю степи — яр...

Бишонков (*убивая карту*). Вот ты и козел!

Филипп. Отвечаю на все!

Евстигнеич. ...Привели, берут на изготовку. Он стоит у плетня, да как снимется от земли, с завязанными-то руками, ровно господь его от земли отнял. Перелетел через плетень — и наискосок... Они — стрелять... да ночь, темнота, он кружит, петляет — ушел.

Филипп (*сдает карты*). Это герой!

Евстигнеич. Это герой вечный. Джигит считался. Я его, как тебя, знал... Полгода гулял, потом прикрыли.

Филипп. Неужто доделали?

Евстигнеич. Доделали. Я считаю — неправильно. Человек из могилы вылез, человек тот свет видал, — значит, не судьба его убивать.

Филипп. Ноль внимания в настоящее время.

Евстигнеич. Я считаю — неправильно. Во всех странах такой закон: не добили — твое счастье, живи дальше.

Филипп. У нас давай только... Доделают.

Бишонков. У нас давай...

Людмила. Зажгите свет.

Дымшиц открывает выключатель.

Я ухожу. (*Оборачивается, смотрит на Дымшица, разражается смехом*). Не надувайте губ, идите ко мне... Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала.

Дымшиц. Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать.

Людмила. Я не скрываю — какое-то чувство симпатии вы мне внушаете, но надо этому чувству укрепиться... Из армии приедет Маша, вы познакомитесь: в нашей семье без нее ничего не делается... Папа — тот хорошо относится к вам, но он беспомощный — вы видели... И потом, много еще не решено: ваша жена?..

Дымшиц. При чем здесь жена?

Людмила. Я знаю — евреи привязаны к своим детям.

Д ы м ш и ц. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить.

Л — д м и л а. Поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением...

Д ы м ш и ц. С тех пор как евреи ждут Мессию — они вооружены терпением... Выпейте еще бокальчик.

Л ю д м и л а. Я много выпила.

Д ы м ш и ц. Это вино мне принесли с броненосца. У великого князя был сундучок на броненосце...

Л ю д м и л а. Как это вы все достаете?

Д ы м ш и ц. Где я достану — там другой не достанет... выпейте этот бокальчик.

Л ю д м и л а. С условием, что вы будете сидеть тихо.

Д ы м ш и ц. Тихо сидят в синагоге.

Л ю д м и л а. Вот вы и сюртук надели, верно, для синагоги. Сюртук, Исачок, носили директора гимназий на выпускных актах и купцы на поминальных обедах.

Д ы м ш и ц. Я не буду носить сюртука.

Л ю д м и л а. И потом — билеты. Никогда, мой друг, не покупайте билеты в первом ряду, — это делают выскочки, парвеню...

Д ы м ш и ц. Я же выскочка и есть.

Л ю д м и л а. У вас внутреннее благородство — это совсем другое. Вам даже имя ваше не идет... Теперь можно дать объявление в газете, в «Известиях»... Я бы переменила на Алексей... Вам нравится — Алексей?

Д ы м ш и ц. Нравится. *(Он снова гасит свет и накидывается на Муковнину.)*

Е в с т и г н е и ч. Взвозились...

Ф и л и п п *(прислушивается)*. Вроде наша...

Б и ш о н к о в. Мне Людмила Николаевна больше всех по сердцу — она человека привечает... А то ходят дикие, трепаные... Меня по отечеству привечает...

В комнату инвалидов входит В и с к о в с к и й, становится за спиной Евстигнеича, смотрит, как падают карты.

Л ю д м и л а *(вырывается)*. Позовите мне извозчика...

Д ы м ш и ц. Моментально!.. Больше мне делать нечего.

Л ю д м и л а. Позовите сию минуту!

Д ы м ш и ц. На улице тридцать градусов мороза, сумасшедшую собаку выпустить жалко.

Л ю д м и л а. На мне все порвано... Как я домой покажусь?..

Д ы м ш и ц. Где пьют — там и льют.

Л ю д м и л а. Пошло... Исаак Маркович, вы ошиблись адресом.

Д ы м ш и ц. Такое мое счастье.

Л ю д м и л а. Я же вам говорю — у меня болят зубы, болят невыносимо!..

Д ы м ш и ц. Где именье, где вода... При чем тут зубы?

Л ю д м и л а. Достаньте мне зубных капель... Я страдаю.

Дымшнц выходит, в соседней комнате сталкнвается с В н с к о в с к н м.

В и с к о в с к и й. С легким паром, учитель.

Д ы м ш и ц. У нее зубы болят.

В и с к о в с к и й. Бывает...

Д ы м ш и ц. Бывает, что и не болят.

В и с к о в с к и й. Липа, Исаак Маркович, обязательно липа.

Ф и л и п п. Это изобретение ее, Исаак Маркович, а не зубы болят...

Л ю д м и л а *(поправила волосы перед зеркалом. Статная, веселая, раскрасневшаяся, она ходит по комнате и напевает)*.

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок...

Д ы м ш и ц. Я не мальчик, Евгений Александрович, — уже оно давно прошло, то время, когда я был мальчиком.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Л ю д м и л а *(снимает телефонную трубку)*. 3-75-02. Папочка, ты?.. Мне очень хорошо... В театре была Надя Иогансон с мужем. Мы ужинаем у Исаака Марковича... Ты обязательно посмотри Спесивцеву, она заменит Павлову... Лекарство ты принял? Тебе надо лечь... Твоя дочь умница, папа, ужасная выдумщица... Катюша, ты?.. Ваше приказание, сударыня, исполнено. Le mane'ge continue, j'ai mal aux dents se soir.[1] *(Ходит по комнате, поет, взбивает волосы.)*

Д ы м ш и ц. И она может дождаться того, что в следующий раз меня для нее не будет дома...

В и с к о в с к и й. Дело хозяйское.

[1]Манеж продолжается, ныиешнмм вечером у меня болят зубы *(франц.)*.

Дымшиц. Потому что о моих детях и моей жене пусть меня спрашивают другие, а не она.

Висковский. Слушаю-с.

Дымшиц. Люди недостойны завязывать башмак у моей жены, если вы хотите знать — шнурок от башмака.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Висковского. Он в галифе, в сапогах, без куртки, ворот рубахи расстегнут. На столе бутылки, выпито много. На тахте, привалившись, румяный, короткий Кравченко в военной форме и мадам Дора — тощая женщина в черном, с испанским гребнем в волосах и качающимися большими серьгами.

Висковский. Один удар, Яшка...

Я знал одной лишь силы власть.
Одну, но пламенную страсть...

Кравченко. Сколько же тебе надо?

Висковский. Десять тысяч фунтов. Один удар... Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?

Кравченко. И все на нитках?

Висковский. Нитки побоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут.

Кравченко. Да их небось уже нету.

Висковский. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять... У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге...

Кравченко. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович.

Висковский. Выйдет!.. У меня отец торговал — выменивал усадьбы на жеребцов... Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает.

Кравченко. Ты бы Муковнину позвал... Мается женщина в коридоре...

Висковский. В Париж, Яшка, я приеду барином.

Кравченко. Дымшиц этот — куда он запропастился?

Висковский. Отсиживается в уборной или в «шестьдесят шесть» играет с курляндчиком и Шапирой... (*Открывает дверь.*) Мисс, к нашему огоньку... (*Выходит в коридор.*)

Дора (*целует у Кравченко руки*). Ты солнце! Ты божество!

Входят Людмила в шубке и Висковский.

Людмила. Это непостижимо! Был уговор...

Висковский. Который дороже денег.

Людмила. Был уговор, что я приду в восемь. Теперь три четверти десятого... и ключа не оставил... Куда же он делся?

Висковский. Поспекулирует и придет.

Людмила. Все-таки они не джентльмены — эти люди...

Висковский. Выпейте водки, девочка.

Людмила. Правда, я выпью, озябла... Непостижимо все-таки!

Висковский. Разрешите вам представить, Людмила Николаевна, мадам Дору, гражданку Французской республики — Liberte', Egalite', Fraternite' [1]. Между прочими достоинствами обладает заграничным паспортом.

Людмила *(подает руку)*. Муковнина.

Висковский. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.

Кравченко. Евгений Александрович нынче в ударе.

Висковский. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился, — ты разрушишь ее, обстрелять детский приют, — ты скажешь: «Трубка два ноль восемь», и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все пойдешь и, если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери, — ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка, — дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные, и песни, которым тебя станут обучать, тоже будут скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазками... Два гражданина придут к тебе в гости:«Пойдем, товарищ Кравченко...» — «Вещи, — спросишь ты, — брать с собою или нет?» — «Вещи можно не брать, товарищ Кравченко, дело минутное, допрос, пустяки...» И тебе поставят точку, красный артил-

[1] Свобода, Равенство, Братство *(франц.)*.

лернст, — это будет стоить четыре копейки деиег. Высчнтано, что пуля от кольта стонт четыре копейкн н нн сантнма больше.

Дора. Жак, бернте меня домой...

Внсковскнй. Твое здоровье, Яков!.. За победоносную Францню, мадам Дора!

Людмила (*ей все время подливают*). Я схожу посмотрю, ие вернулся лн он...

Внсковскнй. Поспекулнрует н прндет... Маркиза, лнпу с зубамн самн прндумали?

Людмила. Сама... Здорово?.. (*Смеется.*) Право же, теперь нначе нельзя. Еврен должиы уважать женщниу, с которой онн хотят быть близки.

Висковский. Я смотрю на вас, Люка, — вы похожн на снннчку... Выпьем, снннчка!

Людмнла. Теперь за меия прнмется. Вы чего-то намешали в это пойло, Внсковский.

Висковский. Синичка... Все снлы Муковииных ушлн иа Марню, вам остался только ряд мелкнх зубов.

Людмнла. Дешево, Внсковскнй.

Внсковскнй. И маленькую твою грудь я ие люблю... Грудь жеищнны должна быть красива, велика, беспомощна, как у овцы...

Кравченко. Мы пошли, Евгенні Александровнч.

Висковскнй. Ннкуда вы не пойдете... Синнчка, выходн за меия замуж.

Людмнла. Нет, уж я лучше за Дымшица... Зиаем, как за вас выходнть; ныиче вы иапились, завтра у вас похмелье, потом вы уезжаете неведомо куда, потом вы стреляетесь... Нет, уж мы за Дымшнца.

Кравчеико. Отпустн иас, Евгений Александровнч, сделай мнлость!

Висковскнй. Никуда вы не пойдете... Тост! Тост за женщину. (*Доре.*) Это Люка... Сестру ее зовут Мария.

Кравчеико. Мария Ннколаевиа в армнн, кажется?

Людмила. Она на граннце теперь.

Внсковскнй. На фронте, на фронте, Кравченко. Днвнзней у них командует шестерка.

Людмнла. Внсковскнй, это неправда. Он — металлист.

Висковский. Шестерку зовут Акнм... Выпьем за женщнн, мадам Дора! Женщнны любят прапорщиков, половых, акцнзных чнновинков, кнтайцев... Их дело любить, — в участке разберутся. (*Поднимает бокал.*) «За

милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час...» Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась... Ее сестру зовут Мария... Представь себе, Яшка, что ты полюбил царицу. «Вы гадки, — говорит она тебе, — уходите...»

Л ю д м и л а (*смеется*). Узнаю Машу...

В и с к о в с к и й. «Вы гадки, уходите...» Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадскую, шестнадцать, квартира четыре...

Л ю д м и л а. Висковский, не смейте!

В и с к о в с к и й. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Мария Николаевна вышла из дому в сером костюме tailleur . Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь, — он играет на виолончели, — князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли... Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours [1]. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сняла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... «Князь! Что же вы, князь?» Но голос у князя оказался как у папского певчего. Passe rien ne va plus[2].

Л ю д м и л а. Боже, какая злюка!

В и с к о в с к и й. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...

Людмила Николаевна откидывается, хохочет.

Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем надеяться, голос звучит погрубее... Ваше мнение, Людмила Николаевна?

Л ю д м и л а. Висковский, вы намешали что-то в эту водку... У меня голова кружится...

В и с к о в с к и й. Иди сюда, мелочь! (*С силой берет ее за плечи и приближает к себе.*) Дымшиц — сколько заплатил он тебе за кольцо?

Л ю д м и л а. Что вы говорите такое?

[1] Печенье (*франц.*).
[2] Все в прошлом (*франц.*).

В и с к о в с к и й. Кольцо не твое, сестры. Ты продала чужое кольцо.

Л ю д м и л а. Оставьте меня!

В и с к о в с к и й *(отталкивает ее в боковую дверь)*. Иди со мною, мелочь!..

В комнате остаются Дора и Кравченко. В окне медленный луч прожектора. Дора, взъерошенная, выпученная, тянется к Кравченко. Целует у него руки, стонет, лепечет. Входит на цыпочках босой Ф и л и п п с обваренным лицом, не торопясь, бесшумно берет со стола вино, колбасу, хлеб.

Ф и л и п п *(негромко, склонив голову набок)*. Не обидно будет, Яков Иваныч?

Кравченко кивает головой, инвалид, осторожно ступая босыми ногами, уходит.

Д о р а. Ты солнце! Ты бог! Ты все!

Кравченко молчит, прислушивается. Входит В и с к о в с к и й, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.

В и с к о в с к и й. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...

Д о р а. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...

К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной, граждане?

К р а в ч е н к о. Погоди , Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной — за дам...

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. За дам, Яков Иванович!

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. Что именно нехорошо?

К р а в ч е н к о. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.

В и с к о в с к и й *(офицерским голосом)*. Как вы сказали?

Пауза. Плач смолкает.

К р а в ч е н к о. Я сказал — больные гонореей...

В и с к о в с к и й. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..

Кравченко выннмает револьвер.

Очень хорошо.

Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом — выстрелы, паденне тел, женский крнк.

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Муковнnных. В углу на сундуке свернулась старуха нянька. Спнт. На столе пятно света от лампы. Катя чнтает Муковнину пнсьмо..

Катя. «...На рассвете меия будит рожок штабиого эскадроиа. К восьми надо быть в полнтотделе, я там за все... Правлю статьн в днвнзноиную газету, веду школу ликбеза. Пополиенне у нас — украницы, языком и выразнтельиостью онн напомниают мие итальянцев. Казеиная Россня в течеине столетий подавляла и унижала их культуру... На иашей Мнллионной в Петербурге, в доме против Эрмнтажа н Зимнего дворца, мы жилн, как в Полннезнн, — не зиая нашего народа, не догадываясь о нем... Вчера на уроке я прочнтала из папнной книги главу об убнйстве Павла. Наказанне свое нмператор заслужнл так очевидно, что ннкто об этом не задумался: спрашнвалн меня — здесь сказался точный ум простолюднна — о расположеннн полка, комнат во дворце, о том, какая рота гварднн была в карауле, средн кого былн набраиы заговорщнкн, чем обидел нх Павел... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только полякн не зашевелятся... Ты увндншь, дружок мой, папа, иовую армию, новую казарму — в протнвовес той, о которой ты рассказываешь. К тому временн наш парк расцветет н зазеленеет, лошадн поправятся иа подножном корму, седла прнготовлеиы... Я говорнла Акнм Иваиычу — он согласен, только бы у вас все было благополучио, милые мон... Теперь ночь... Я освободнлась поздио и поднялась к себе по нстоптанным четырехсотлетинм ступеням. Я жнву на вышке, в сводчатой зале, служнвшей когда-то оружейиой графам Красннцкнм. Замок построеи иа крутнзие, у подножья его сняяя река, пространство лугов иеобозримо, с туманной стеной леса вдалн... В каждом этаже замка выбнта нниша для дозорного: отсюда онн следилн прнблнжеиие татар н русскнх н лили кнпящее масло иа головы осаждающнх. Старушка Гедвига, экономка последнего Красннцкого, прнготовила мне ужнн и растопила камин, глубокнй и черный, как подземелье... В парке вннзу перемииаются, зад-

ремывают лошади. Кубанцы ужииают вокруг костра и заводят песию. Сиег иалег иа деревья, ветки дубов и каштаиов переплелись, иеровиая серебряиая крыша иакрыла заиесеииые дорожки, статуи. Оии еще сохраиились, — юиоши, бросающие копье, и обиажеииые закочеиевшие богиии с согиутыми руками, с волиистой лииией волос и слепыми глазами... Гедвига дремлет и трясет головой, полеиья в камиие вспыхивают и распаляются. Столетия сделали кирпичи звоикими, как стекло, — оии озареиы золотом в ту мииуту, когда я пишу вам... Карточка Алеши у меия иа столе... Здесь те самые люди, которые ие задумались убить его. Я ушла только что от иих и помогла их освобождеиию... Правильио ли я сделала, Алексей, исполиила ли я твое завещаиие жить мужествеиио?.. И тем, что в ием есть иеумирающего, ои ие отвергает меия... Поздио, ие могу заснуть — от иеобъясиимой тревоги за вас, от боязии сиов. Во сие я вижу погоию, мучительство, смерть. Я живу страиной смесью — близостью к природе, беспокойством о вас. Почему Люка пишет так редко? Несколько дией тому иазад я послала ей бумажку, подписаииую Аким Иваиовичем, о том, что у меия, как у военнослужащей, не имеют право реквизировать комиату. Кроме того, у папы должиа быть охраииая грамота иа библиотеку. Если срок ее прошел, иадо возобиовить в Наркомпросе, у Черiышева моста, комиата сорок. Я буду счастлива, если Люке удастся осиовать свою семью, ио иадо, чтобы этот человек бывал у нас в доме, позиакомился бы с папой, — тут сердце ие обмаиет. И пусть ияиька увидит его... Катюша все жалуется иа старуху, что та ие работает. Катюша, ияиька стара, оиа вырастила два поколеиия Муковииных, у иее свои мысли и чувства, оиа ие простой человек... Мие всегда казалось, что в ией мало крестьяиского, а впрочем, что зиали мы в иашей Полииезии о крестьяиах?.. В Петербурге, говорят, стало еще трудиее с продовольствием: у тех, кто ие служит, забирают комиаты и белье... Мие стыдио за то, что мы живем хорошо. Два раза Аким Иваиович брал меия с собой иа охоту, у меия верховая лошадь, доиец...» *(Катя поднимает голову.)* Вот видите, Николай Васильевич, как хорошо.

Муковнин закрывает глаза ладонью.

Не иадо плакать...

М у к о в и и и. Я спрашиваю у бога, — у каждого из иас есть бог его души, — за что ты дала мие, дуриому, себялюбивому человеку, таких детей — Машу, Люку?..

К а т я. Но это же хорошо, Николай Васильевич. Зачем плакать?..

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Участок милиции ночью. Под лавкой скрючился пьяный. Он двигает пальцами перед самым своим лицом, внушает себе что-то. На лавке дремлет грузный старый ч е л о в е к, хорошо одетый, в енотовой шубе и высокой шапке. Шуба распахнулась, под ней голая серая грудь. Н а д з и р а т е л ь допрашивает М у к о в н и н у. Кротовая шапочка ее сбита набок, волосы растрепаны, шубка стащена с плеча.

Н а д з и р а т е л ь. Имя?

Л ю д м и л а. Отпустите меня.

Н а д з и р а т е л ь. Имя?

Л ю д м и л а. Варвара.

Н а д з и р а т е л ь. Отчество?

Л ю д м и л а. Ивановна.

Н а д з и р а т е л ь. Где работаете?

Л ю д м и л а. У Лаферма, на табачной фабрике.

Н а д з и р а т е л ь. Профбилет?

Л ю д м и л а. Я не ношу с собой.

Н а д з и р а т е л ь. Зачем липу гоните?

Л ю д м и л а. Я замужем... Отпустите меня...

Н а д з и р а т е л ь. Почему вам интересно липу гнать, скажите? Брылева давно знаете?

Л ю д м и л а. О чем вы говорите?.. Я не знаю.

Н а д з и р а т е л ь. Ордера на нитки Брылев подписывал, через вас шло к Гутману, где вы склад сделали?..

Л ю д м и л а. Что вы говорите? Какой склад?..

Н а д з и р а т е л ь. Сейчас узнаете какой.. *(Милиционеру.)* Позовите Калмыкову.

Милиционер вводит Ш у р у К а л м ы к о в у, горничную в номерах на Невском, 86.

Н а д з и р а т е л ь. Вы коридорная?

К а л м ы к о в а. Я подменяю.

Н а д з и р а т е л ь. Признаете гражданку?

К а л м ы к о в а. Очень отлично признаю.

Н а д з и р а т е л ь. Что можете показать?

К а л м ы к о в а. Могу отвечать по вопросам... Отец их генерал.

Н а д з и р а т е л ь. Работает она?

К а л м ы к о в а. Пару поддает — это у ней работа.

Н а д з и р а т е л ь. Муж есть?

К а л м ы к о в а. Под кустом венчались... У ней мужьев много. Один от ее зубов весь вечер в отхожем оронился.

Н а д з и р а т е л ь. Какие зубы? Чего плетешь?..

К а л м ы к о в а. Людмила Николаевна знает, какие зубы.

Н а д з и р а т е л ь *(Муковниной)*. Приводы были?.. Сколько?

Л ю д м и л а. Меня заразили... Я больна.

Н а д з и р а т е л ь *(Калмыковой)*. Нам удостоверить надо, сколько у ней приводов.

К а л м ы к о в а. Это не знаю, не скажу... Я то не скажу, чего не знаю.

Л ю д м и л а. Я измучена... Отпустите меня...

Н а д з и р а т е л ь. Не волноваться! На меня смотрите.

Л ю д м и л а. У меня голова кружится... Я упаду...

Н а д з и р а т е л ь. На меня смотреть!

Л ю д м и л а. Боже мой, зачем мне смотреть на вас?..

Н а д з и р а т е л ь *(в бешенстве)*. Затем, что я пятые сутки не спавши... Можете вы это понять?..

Л ю д м и л а. Я могу понять.

Н а д з и р а т е л ь *(подступает к ней ближе, берет за плечи и смотрит ей в глаза)*. Приводов сколько — говори.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

У Муковниииых. Горят коптилки. Теии иа стенах н потолке. Перед зажжеииой лампой молится Г о л и ц ы и. На суидуке спнт и я н ь к а.

Г о л и ц ы н. ...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит — того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел...

К а т я *(подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на его плечо)*. Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей, там клеенчатый диван есть... Я приходу, Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается...

Г о л и ц ы н. Да.

К а т я. Я уезжаю в Борнсоглебск, киязь.

Г о л н ц ы и. Уезжайте.

К а т я. Редько все учнт меня, все учнт — кого любить, кого иенавидеть... Ои говорнт — закои большнх чисел. Но я-то сама малое число — или это ие считается?..

Г о л и ц ы и. Должио считаться.

К а т я. Вот видите — должио счнтаться... Вот я и свободна, нянька... Просннсь. Пожалуйста, просннсь. Ты царствне небесное проспишь...

Н е ф е д о в н а *(поднимает голову)*. Люка-то где?

К а т я. Люка скоро прндет, иянька, а я уезжаю, иекому будет тебя браннть.

Н е ф е д о в н а. Зачем меия браинть, какне мои дела... Я иянька рожденная, для детей взята, детей растнть, а нх тут иету... Баб полои дом, а ребеиков нету. Одиа воевать пошла, без иее некому, другая шалается без путн... Какой это может быть дом — без ребеиков?

К а т я. Вот родим тебе от святого духа...

Н е ф е д о в н а. Вы треплетесь, разве я не вижу, треплетесь, да толку иет.

Г о л и ц ы н. Уезжайте в Борнсоглебск, вы иужиы там... В Борнсоглебске пустыия, Катериа Вечеславна, в этой пустыне звери пожирают друг друга...

Н е ф е д о в и а. Вои Молостовы — сквериые совсем купчншкн, выхлопотали своей ияиьке пеисиои, пятьдесят рублев в месяц... Похлопочн за меия, князь, почему мие пенсион не дают?

Г о л н ц ы и *(растапливает «буржуйку»)*. Меия ие послушают, Нефедовиа, у меня теперь снлы иет.

Н е ф е д о в н а. Вои ведь простые совсем купчнкн.

Открывается дверь. М у к о в и и и отступает перед Ф и л и п п о м, закутаиным в тряпье и башлык, громадиым и бесформеиным. Половииа Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках.

М у к о в н и и. Кто вы?

Ф и л и п п *(придвигается ближе)*. Я Людмиле Николаевне знакомый.

М у к о в н и н. Что вам угодио?

Ф н л и п п. Там заварушка получилась, ваше превосходительство.

К а т я. Вы от Исаака Марковнча?

Ф и л н п п. Так точно, от Исаака Марковнча... Вроде как ни с чего н получилось.

К а т я. Людмнла Ннколаевиа?..

Ф и л и п п. Там же, при них они и были, в компании... маленько, ваше превосходительство, перехорошили. Евгений Александрович — один, Яков Иваныч им вроде как напротив, стали цапаться, оба с мухой...

Г о л и ц ы н. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем.

Ф и л и п п. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение... Оба с мухой, оружие при себе...

М у к о в н и н. Где моя дочь?

Ф и л и п п. Ваше превосходительство, неизвестно.

М у к о в н и н. Где ьоя дочь, скажите? Мне все можно сказать.

Ф и л и п п *(чуть слышно)*. Законвертовали.

М у к о в н и н. Я смотрел смерти в глаза. Я солдат.

Ф и л и п п *(громче)*. Законвертовали, ваше превосходительство.

М у к о в н и н. Арестовали — за что?

Ф и л и п п. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванычговорят: «Вы болезнью наделили», Евгений Александрович — стрелять. Оружия при себе, оружия — тут она...

М у к о в н и н. Это Чека?

Ф и л и п п. Люди взяли, а кто их разберет?.. Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство, себя не показывают.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, Катя.

К а т я. Никуда вы, Николай Васильевич, не поедете.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, сейчас же.

К а т я. Николай Васильевич, дорогой мой...

М у к о в н и н. Дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. ***(Подходит к телефону.)*** Прошу штаб военного округа...

К а т я. Не надо, Николай Васильевич!

М у к о в н и н. Прошу к телефону товарища Редько... Говорит Муковнин... Я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит, — в прошлом генерал-квартирмейстер шестой армии... Товарищ Редько, вы?.. Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю... Если оторвал от дела — сожалею очень... Сегодня, Федор Никитич, в доме восемьдесят шесть по Невскому, вечером, вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич, — знаю, что в организации вашей это не принято, — но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей

моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я недомогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма, Катерина Вячеславовна, знаю, и вас затрудняла — ответа нет... Просьба связать по прямому проводу, Федор Никитич... Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе... Вы говорите — доставлено?.. Доставлено восьмого?.. Покорно благодарю, желаю успеха, Федор Никитич. *(Вешает трубку.)* Все хорошо, Машу разыскали, телеграмма вручена восьмого. Она будет в Петербурге завтра, послезавтра самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна, — подняться завтра чуть свет и убрать... Катюша права — квартира запущена. Мы ужасно все запустили в последнее время, везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?

Катя. Не на всю мебель, но есть.

Мукознин *(мечется по комнате)*. Непременно надеть надо чехлы... Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать... И вот Катя у нас не амюзируется, — ты совсем не амюзируешься[1], Катюша, не ходишь в театр, так можно отстать.

Катя. Маша вернется — я пойду.

Муковнин *(инвалиду)*. Простите, ваше имя-отчество?..

Филипп. Филипп Андреевич.

Муковнин. Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич? Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили... Надо угостить Филиппа Андреевича... Нянька, найдется у нас, чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич, милости просим по-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим...

Катя. Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, лечь надо.

Муковнин. И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок — урок за ребячество, за отсутствие опыта... Если хотите — я доволен... *(Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя.)* Спокойствие, Катя, спокойствие...

---

[1] От французского глагола s'amuser — приятно проводить время развлекаться.

Катя. Что с вами?

Муковнин. Ничего — сердце...

Катя и Голицыны берут его под руки, уводят.

Филипп. Расстроился.

Нефедовна *(ставит на стол прибор)*. Барышню нашу при тебе брали?

Филипп. При мне.

Нефедовна. Билась?

Филипп. Сперва билась, потом пошла ничего.

Нефедовна. Я тебе картошку дам, кисель есть...

Филипп. Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили, заварушка эта поднялась, — глядь, и уперли.

Нефедовна *(ставит перед Филиппом картошку)*. Лицо-то у тебя на войне обварило?

Филипп. Лицо у меня гражданским порядком обварило, давно дело было...

Нефедовна. А война будет? Чего у вас говорят?

Филипп *(ест)*. Война, бабушка, будет в августе месяце.

Нефедовна. С поляками, что ли?

Филипп. С поляками.

Нефедовна. Не все им отдали?

Филипп. Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают.

Нефедовна. Ишь, дураки какие!

Входит Катя.

Катя. Очень худо Николаю Васильевичу. Нужно доктора.

Филипп. Доктор, барышня, сейчас не пойдет.

Катя. Он умирает, нянька, у него нос синий... Уже видно, какой он будет мертвый...

Филипп. Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него.

Катя. В аптеку надо за кислородом...

Филипп. Они союзные — их превосходительство?

Катя. Не знаю... Мы ничего здесь не знаем.

Филипп. Если не союзные — не дадут.

Резкий звонок. Филипп идет открывать, возвращается.

Там... там... Мария Николаевна...

К а т я. Маша?!

Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней к р а с н о а р м е е ц, лет девятнадцати, мальчик на длинных ногах, он тащит за собой мешок. Входит Г о л и ц ы н, останавливается у двери.

К р а с н о а р м е е ц. Здравствуйте!

К а т я. Боже мой, Маша!..

К р а с н о а р м е е ц. Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали.

К а т я. Где же она?.. Она с вами?

К р а с н о а р м е е ц. Мария Николаевна в дивизии, сейчас все на местах... Из вещей тут кое-что есть — сапоги...

К а т я. Она не приехала с вами?

К р а с н о а р м е е ц. Там бои, товарищи, идут, — как можно?

К а т я. Мы телеграммы посылали, письма...

К р а с н о а р м е е ц. Что ни посылайте — все равно... Части день и ночь в движении.

К а т я. Вы увидите ее?

К р а с н о а р м е е ц. Как же не увидеть?.. Если передать что-нибудь...

К а т я. Да, передайте ей, пожалуйста... Передайте, что отец ее умирает и мы не надеемся его спасти. Передайте, что, умирая, он звал ее... Сестра ее Люка не живет с нами больше — она арестована. Скажите, что мы желаем счастья Марии Николаевне, желаем, чтобы она не думала о тех днях и часах, когда ее не было с нами...

Красноармеец озирается, отступает. Шатаясь, выходит из своей комнаты М у к о в н и н. Глаза его блуждают, волосы поднялись, он улыбается.

М у к о в н и н. Вот, Маша, тебя не было, и я не хворал, все был молодцом, Маша... *(Видит красноармейца.)* Кто это? *(Повторяет громче.)* Кто это?.. Кто это?.. *(Падает.)*

Н е ф е д о в н а *(опускается на колени рядом с Муковниным)*. Ну что, Коля, уходишь?.. Не ждешь няньку...

Старик хрипит. Агония.

Полдень. Ослепительный свет. В окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол Зимнего дворца. Пустая зала Муковниных. В глубине натирают паркет А н д р е й и подмастерье К у з ь м а, толстомордый парень. А г а ш а кричит в окно.

А г а ш а. Нюшка, проклятущая, не давай дитю об стенку мазать!.. Куда глаза подевала? Сидишь, что ли, на глазах?.. Выросла — небо прободаешь, а толку все то же... Тихон, слышь, Тихон, зачем у тебя сарай растворенный? Замкни сарай-то... Егоровна, здравствуй! Я у тебя сольцы до первого достану?.. Первого разживусь по купону — отдам. Девка моя зайдет, насыпь ей в пузырек, до первого... Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? Когда они съезжают?

Г о л о с Т и х о н а. Съезжать, говорят, некуда.

А г а ш а. Жить умели — умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и с—ажи... Нюшка, проклятущая, гляди дите себе в нос землю пихает!.. Бери дите наверх, марш домой, окна мыть!.. *(Полотеру.)* Ну как, мастер, действуешь?

А н д р е й. Прикладываем труды.

А г а ш а. Не больно прикладываешь... Углы все пооставляли.

А н д р е й. Это какие углы?

А г а ш а. Да все четыре — и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.

А н д р е й. Материал теперь не тот, хозяйка.

А г а ш а. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.

А н д р е й. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...

В глубине проходят С у ш к и н и К а т я в трауре.

С у ш к и н. Единственно как фанатик мебельной отрасли покупаю, единственно по охоте моей, что не могу мимо античной вещи пройти,— я за античную вещь болею. Громоздкую вещь в настоящий момент покупать — это камень на шею, с ним тонуть, Катерина Вячеславна... Вот сделаешь сегодняшний день покупку — мечтаешь, а завтра ты страдалец куда бы рассовать.

Катя. Вы забываете, Аристарх Петрович, что здесь ни одной простой вещи нет. Мебель эту сто лет назад Строгановы из Парижа выписывали.

Сушкин. Оттого миллиард двести и даю.

Катя. Что значит теперь этот миллиард, если на хлеб перевести?

Сушкин. А вы не на хлеб, а на мою ненормальнось переведите, что я как охотник покупаю. С громоздкой вещью в настоящий момент остаться — ведь это я у них первый кандидат буду... *(Меняя тон.)* Тут у меня и молодежь приготовлена... *(Кричит вниз.)* Ребятежь, подхватывайся, веревки с собой тащи!..

Агаша *(выступает вперед)*. Это куда подхватываться?

Сушкин. С кем имею честь-удовольствие?..

Катя. Это наша смотрительница двора, Аристарх Петрович.

Агаша. Ну, хоть дворничиха.

Сушкин. Очень приятно. Теперь, значит, такой разговор: вы нам, как говорится, поможете мебель снести, мы обоюдно вам поможем.

Агаша. Не получится у вас, гражданин.

Сушкин. Что именно у вас не получится?

Агаша. Тут переселенные люди будут, из подвала...

Сушкин. Это нам, конечно, интересно знать, что переселенные...

Агаша. Мебель-то где они возьмут?

Сушкин. А вот это нам, гражданка, совершенно не интересно знать.

Катя. Агаша, Мария Николаевна поручила мне продать...

Сушкин. Прошу прощения, гражданка, мебель-то ваша?

Агаша. Мебель не моя, да и не твоя тоже.

Сушкин. На это первично отвечу, что мы с вами над одной ямкой сидели, а вторично я вам скажу, что вы в настоящий момент, гражданка, неприятность себе наживаете.

Агаша. Ордер принесешь — я мебель выпущу.

Катя. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...

Агаша. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь.

Сушкин. Гляди баба, нарвешься!

А г а ш а. Не ругайся, выгоню...

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович.

С у ш к и н. Превышение власти, баба, делаешь.

А г а ш а. Ордер принеси — выпущу.

С у ш к и н. В другом месте поговорим.

А г а ш а. Хочь на Гороховой.

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович...

С у ш к и н. Я уйду, да вернусь, — не один вернусь, с людьми.

А г а ш а. Нехорошо делаете, барышня.

Уходят. Андрей и Кузьма кончают натирать, собирают свой снаряд.

К у з ь м а. Умыла как следует.

А н д р е й. Колкая дамочка.

К у з ь м а. Она и при генерале была?

А н д р е й. При генерале она низко ходила, головы не высовывала.

К у з ь м а. Генерал-то дрался небось?

А н д р е й. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь — он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.

К у з ь м а. Как это так — народ генерала любил?

А н д р е й. По дурости нашей — любили... Он вреда больше положенного не делал. Сам себе дрова колол.

К у з ь м а. Старый был?

А н д р е й. Особо старый не был.

К у з ь м а. А помер..

А н д р е й. Помирает, брат, Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел.

Входят А г а ш а, рабочий С а ф о н о в, костлявый молчаливый парень, и беременная жена его Е л е н а, длинная, с маленьким светлым лицом, молодая женщина лет двадцати, не более, она в последних днях. Все нагружены домашним скарбом, тащут с собой табуретки, матрацы, примус.

А н д р е й. Погоди, погоди, дай подстелю...

А г а ш а. Входи, Сафонов, не бойся. Тут тебе и помещаться.

Е л е н а. Нам бы другого чего-нибудь, похуже...

А г а ш а. Привыкай к хорошему.

А н д р е й. Плевое дело — к хорошему привыкнуть.

А г а ш а. Налево кухня, там ванная — мыться... Пойдем, хозяин, остальное притащим... Ты сиди, Елена, не ходи, — выкинешь, пожалуй.

Агаша и Сафонов уходят, Андрей собнрает свои пожитки — щеткн, ведра, Елеиа саднтся на табуретку.

А н д р е й. С новосельем, значит?

Е л е н а. Вроде, неудобно помещение, велико...

А н д р е й. Когда рассыпаться тебе?

Е л е н а. Завтра пойду.

А н д р е й. Очень просто. На Мойку, что ли, во дворец?

Е л е н а. На Мойку.

А н д р е й. Дворец этот — нонче называется матери и ребенка,— его в прежнее время царица для пастуха построила, теперь там бабы опрастываются. Все по порядку, очень просто.

Е л е н а. Завтра идти. То боюсь, дядя Андрей, а то ничего.

А н д р е й. Бояться тут нечего: родишь — не чихнешь. Проработает тебе все жилы, разделаешься, опосля этого себя не узнаешь.

Е л е н а. У меня, дядя Андрей, кость узкая...

А н д р е й. Попросят ее, твою кость, она подвинется... Другой раз посмотришь на бабочку, кое-как слеплена, волосьев копна, да ножки, да ручки, а выпечатает такого мужичищу, он водки ведро выпьет да кулаком убьет... На все специальность... (*Взваливает на плечи мешок.*) Мальчика желаешь или девочку?

Е л е н а. Мне все равно, дядя Андрей.

А н д р е й. Это верно, что все равно... Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?.. (*Собирает свой инструмент.*) Пошли, Кузьма... (*Елене.*) Родишь — не чихнешь, на все специальность... Поехали, казак.

Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входят солнце н шум улнцы. Выставив жнвот, женщина осторожно ндет вдоль стеи, трогает нх, заглядывает в соседние комнаты, зажнгает люстру, гаснт ее. Входит Н ю ш а, непомерная багровая девка, с ведром н тряпкой — мыть окна. Она становнтся на подоконннк, затыкает подол выше колеи, лучн солнца льются иа нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба.

Е л е н а. На новоселье придешь ко мне, Нюша?

Н ю ш а (*басом*). Позовешь — приду, а чего поднесешь?..

Е л е н а. Много не поднесу, что найдется...

Н ю ш а. Мне сладенького поднеси, красного... *(Пронзительно и неожиданно она запевает.)*

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила — говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...

Занавес

СОДЕРЖАНИЕ

КОНАРМИЯ

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ПЬЕСЫ

Исаак Эммануилович
Бабель

КОНАРМИЯ

Исаак Еммануилович
Бабел

СҮВАРИ ОРДУ

Редактор издательства *Т. Рашевская*
Художник *В. Мартынов*
Художественный редактор *Б. Хананьев*
Технический редактор *Т. Алиева*
Корректоры *И. Кадымова, И. Таирова*

ИБ № 4572

Сдано в набор 16.11.88. Подписано к печати 21.06.89. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Печать офсетная. Гарнитура литературная. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,39. Уч.-изд. л. 16,0. Тираж 250 000 (1 завод 1 — 100 000).
Заказ № 8793. Цена 4 руб.

Государственный комитет Азербайджанской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Азербайджанское ордена Дружбы народов государственное издательство «Азернешр». Баку—370005, ул. Гуси Гаджиева, 4.

Типография издательства «Коммунист» ЦК КП Азербайджана.




4 руб.